

Ги де Мопассан Жизнь

I

Бесхитростная правда Жанна уложила чемоданы и подошла к окну; дождь все не прекращался.

Ливень целую ночь стучал по стеклам и крышам. Низкое, набухшее дождем небо как будто прорвало, и оно изливалось на землю, превращая ее в месиво, распуская, точно сахар. Порывы ветра обдавали душным зноем. Журчание воды в затопленных канавах наполняло безлюдные улицы, а дома, точно губки, впитывали сырость, которая проникала внутрь и проступала на стенах, от погреба до чердака.

Жанна вчера лишь вышла из монастыря, наконец-то очутилась на воле, стремилась навстречу всем долгожданным радостям жизни, а теперь боялась, что отец не захочет ехать, пока не прояснится, и в сотый раз за это утро вглядывалась в даль.

Но тут она заметила, что забыла уложить в саквояж свой календарь. Она сняла со стены кусочек картона, разграфленный по месяцам и украшенный посередине виньеткой, где золотыми цифрами был обозначен текущий тысяча восемьсот — девятнадцатый год. Она перечеркнула карандашом четыре первых столбца и вымарала имена святых вплоть до второго мая, дня ее выхода, из монастыря.

За дверью послышался голос:

— Жаннета!

Жанна откликнулась:

— Войди, папа.

И на пороге показался ее отец.

Барон Симон-Жак Ле Пертюи де Во был аристократ прошлого столетия, человек чудаковатый и добрый. Восторженный последователь Жан-Жака Руссо, он питал любовную нежность к природе, к полям, лесам, животным.

Как дворянин по рождению, он чувствовал инстинктивную вражду к тысяча семьсот девяносто третьему году, но, как философ по характеру, а по воспитанию — либерал, он ненавидел тиранию безобидной, риторической ненавистью.

Великой его силой и великой слабостью была доброта, — та доброта, которой не хватало рук, чтобы ласкать, чтобы раздавать, обнимать, — доброта зиждителя, беспредельная, безудержная, какой-то паралич задерживающих центров, изъян воли, чуть ли не порок.

Будучи теоретиком, он задумал целый план воспитания своей дочери, желая сделать ее счастливой, доброй, прямодушной и любящей.

До двенадцати лет она жила дома, а затем, несмотря на слезы матери, ее отдали в Сакре-Кер.

Там он держал ее взаперти, в заточении, в безвестности и в неведении житейских дел. Он хотел, чтобы ему вернули ее целомудренной в семнадцать лет и чтобы сам он приобщил ее к поэзии природы, разбудил ее душу, рассеял ее неведение на лоне плодоносной земли, среди полей, хотел, чтобы она, увидев естественную любовь и безыскусные ласки животных, поняла гармоничность законов жизни.

И вот теперь она вышла из монастыря, сияющая, полная юных сил и жажды счастья, готовая ко всем радостям, ко всем чудесным случайностям, мысленно уже пережитым ею в одиночестве праздных дней и долгих ночей.

Она напоминала портреты Веронезе золотисто-белокурыми волосами, которые словно бросали отблеск на ее кожу, кожу аристократки, чуть тронутую розовой краской, затененную легким и светлым бархатистым пушком, заметным только в те мгновения, когда ее ласкал

солнечный луч. Глаза у нее были голубые, темно-голубые, как у человечков из голландского фаянса.

У нее была маленькая родинка на левом крыле носа, а другая справа, на подбородке, и на ней вилось несколько волосков, почти под цвет кожи, а потому незаметных. Роста она была высокого, с развитой грудью, с гибким станом. Звонкий голос ее иногда становился резким, но простодушный смех заражал окружающих весельем. Она часто привычным жестом подносила обе руки к вискам, словно поправляя прическу.

Жанна подбежала к отцу, обняла его и поцеловала.

— Ну, что же, едем? — спросила она.

Отец улыбнулся, покачал головой, украшенной длинными седеющими кудрями, и показал рукою на окно:

— Как же ехать по такой погоде?

Но она упрасивала нежно и вкрадчиво:

— Ну, папа, ну, поедem, пожалуйста. После обеда прояснится.

— Да ведь мама ни за что не согласится.

— Согласится, ручаюсь тебе.

— Если ты уговоришь маму, я возражать не буду.

Тогда Жанна стремительно бросилась в спальню баронессы. Ведь этого дня, дня отъезда, она ждала со все возрастающим нетерпением.

Со времени поступления в Сакре-Кер она ни разу не выезжала из Руана, так как отец не допускал для нее до определенного возраста никаких развлечений. Ее только дважды возили на две недели в Париж; но то был город, а она мечтала о деревне.

Теперь ей предстояло провести лето в их имении Тополя, старинном родовом поместье, расположенном на горной гряде близ Ипора; и она предвкушала всю радость привольной жизни на берегу океана. Кроме того, решено было подарить ей это имение, чтобы она жила в нем постоянно, когда выйдет замуж.

Дождь, не перестававший со вчерашнего вечера, был первым большим огорчением в ее жизни.

Но не прошло и трех минут, как она выбежала из спальни матери, крича на весь дом:

— Папа, папа! Мама согласна; вели закладывать.

Ливень не утихал; когда карету подали к крыльцу, он даже, пожалуй, усилился.

Жанна уже ждала возле кареты, когда баронесса спустилась с лестницы; с одной стороны ее поддерживал муж, а с другой горничная, статная девушка, ростом и силой не уступавшая мужчине. Это была нормандка из Ко, на вид ей казалось лет двадцать, хотя на самом деле было не больше восемнадцати. В семье ее считали почти что второй дочерью, так как она была молочной сестрой Жанны. Ее звали Розали.

Главной ее обязанностью было водить под руку баронессу, непомерно растолстевшую за последние годы вследствие расширения сердца, на которое она без конца жаловалась.

Баронесса, тяжело дыша, добралась до сеней, вышла на крыльцо старинного особняка, взглянула на двор, где струились потоки воды, и пробормотала:

— Право же, это безумие.

Муж отвечал ей с неизменной улыбкой:

— Это была ваша воля, мадам Аделаида.

Она носила пышное имя Аделаида, и муж всегда предпосылал ему обращение «мадам» оттенком насмешливой почтительности.

Она двинулась дальше и грузно опустилась на сиденье экипажа, отчего заскрипели все рессоры. Барон уселся рядом. Жанна и Розали разместились на скамеечке напротив.

Кухарка Людивина принесла ворох теплого платья, которым покрыли колени, затем две корзинки, которые запрятали под ноги, наконец сама она вскарабкалась на козлы рядом с дядюшкой Симоном и закуталась с головы до пят в попону. Привратник и его жена попрощались, захлопывая дверцу, выслушали последние распоряжения относительно багажа, который надлежало отправить следом в тележке, и наконец экипаж тронулся.

Кучер дядюшка Симон, прячась от дождя, пригнул голову, поднял плечи и совсем потонул в своей ливрее с тройным воротником. Выл порывистый ветер, ливень хлестал в стекла и заливал дорогу.

Лошади крупной рысью плавно вынесли дормез на набережную, и он покатил вдоль длинного ряда кораблей, мачты, реи, снасти которых тоскливо поднимались к ненастному небу, точно оголенные деревья; дальше карета выехала на широкую аллею, проложенную по Рибудетскому холму.

Затем дорога пошла лугами, и время от времени сквозь водяную пелену смутно возникала мокрая ива, беспомощно, как мертвая, свесившая свои ветви. Копыта лошадей чавкали, и колеса разбрызгивали круги грязи.

Все молчали; казалось, умы отсырели так же, как земля. Маменька откинулась на подушки экипажа и закрыла глаза. Барон хмуро глядел на однообразный пейзаж, на затопленные водой поля. Розали, держа на коленях узел, застыла в тупой полудреме, свойственной простонародью. Только Жанна, казалось, оживала под этим летним ливнем, как тепличный цветок, вынесенный на свежий воздух; радость, точно густая листва, защищала ее сердце от печали. Хотя она молчала, ей хотелось петь, хотелось протянуть наружу руку, собрать воды и напиться; ей приятно было ощущать быструю рысь лошадей, видеть вокруг безотрадный, поникший под дождем ландшафт и сознавать, что она укрыта от этого потопа.

От намокших, лоснящихся крупов обеих лошадей поднимался пар.

Баронесса мало-помалу задремала. Лицо ее, окаймленное шестью аккуратными длинными буклями, постепенно оседало на три мягкие гряды подбородка, последние волны которого сливались с безбрежным морем ее груди. При каждом вздохе голова ее поднималась и тотчас падала снова; щеки надувались, а из полуоткрытых губ вырывался звучный храп. Муж нагнулся к ней и осторожно всунул ей в руки, сложенные на округлости живота, кожаный бумажник.

Это прикосновение разбудило ее, и она посмотрела на бумажник затуманенным взглядом, еще не вполне очнувшись от сна. Бумажник упал и раскрылся, по карете рассыпалось золото и банковые билеты. Тут она проснулась окончательно, а у дочери радостное настроение прорвалось звонким смехом.

Барон подобрал деньги и, кладя их на колени жене, заметил:

— Вот все, что осталось от моей фермы в Эльто, дорогая. Я продал ее, чтобы отремонтировать Тополя, ведь мы теперь подолгу будем жить там.

Она сосчитала деньги — шесть тысяч четыреста франков — и невозмутимо спрятала их в карман. Они продавали таким образом уже девятую ферму из тридцати двух, унаследованных от родителей. Однако у них имелось еще около двадцати тысяч франков дохода с земель, которые при умелом управлении легко давали бы тридцать тысяч в год.

Жили они скромно, и этого дохода им хватало бы, если бы в хозяйстве не было бездонной, всегда открытой бочки — доброты. От нее деньги в их руках испарялись, как испаряется от солнца влага в болотах. Деньги входили, утекали, исчезали. Каким образом? Никто даже понятия не имел. То и дело кто-нибудь из них говорил:

— Не понимаю, как это вышло, что нынче истрачено сто франков, а, кажется, крупных покупок не было

Впрочем, легкость, с какой они раздавали, составляла одну из главных радостей их жизни, и в этом вопросе они были чудесно, трогательно единодушны.

— А «мой дом» стал теперь красивым, — спросила Жанна

— Сама увидишь, дочурка, — весело ответил барон

Мало-помалу ярость непогоды стихала; вскоре в воздухе осталась только влажная дымка, мельчайшая дождевая пыль. Низко нависшие тучи поднимались все выше, светлели, и вдруг сквозь невидимую щель косой солнечный луч скользнул по лугам.

Тучи расступились, открывая синюю глубь небосвода; понемногу щель расширилась, словно в разорванной завесе, и чудесное ясное небо чистой и густой лазури раскинулось над

миром

Пронесся свежий и легкий ветерок, будто радостный вздох земли; а когда карета проезжала вдоль садов и лесов, оттуда доносилась порой резвая песенка птицы, сушившей свои перышки.

Смеркалось Теперь уже в карете спали все, кроме Жанны Два раза делали остановку на постоянных дворах, чтобы лошади передохнули, а также чтобы задать им овса и напоить их.

Солнце зашло, вдалеке раздавался колокольный звон В какой-то деревушке пришлось зажечь фонари; и небо тоже загорелось мириадами звезд То там, то здесь мелькали освещенные дома, пронизывая огоньками мрак, и вдруг из-за косогора, между ветвями сосен, всплыла огромная красная, словно заспанная, луна.

Было так тепло, что окон не поднимали. Жанна утомилась от грез, насытилась радостными видениями и теперь дремала По временам ноги ее затекали от неудобной позы, тогда она просыпалась, смотрела в окно, видела в светлой ночи проплывавшие мимо деревья какой-нибудь фермы или коров, которые лежали поодиночке на поле и приподымали головы. Затем она меняла положение, стараясь связать нить прерванных грез, но неустанный грохот экипажа отдавался у нее в ушах, утомлял мозг, и она вновь закрывала глаза, чувствуя себя совершенно разбитой.

Но вот карета остановилась У дверцы стояли какие-то люди, мужчины и женщины, с фонарями в руках. Приехали. Жанна сразу же проснулась и стремительно выпрыгнула из экипажа. Отец и Розали, которым светил один из фермеров, почти вынесли вконец измученную баронессу; она страдальчески охала и твердила замирающим голосом: «Ах ты, господи! Ах, дети мои!» Она не пожелала ни пить, ни есть, легла и тотчас уснула.

Жанна и барон ужинали вдвоем. Они переглядывались и улыбались, через стол пожимали друг другу руки и в приливе одинаковой ребяческой радости отправились осматривать заново отделанный дом.

Это было высокое, большое нормандское жилище, не то ферма, не то замок, построенное из белого, уже посеревшего плитняка и достаточно просторное, чтобы вместить целое племя

Обширный вестибюль пересекал весь дом насквозь, и на обе стороны открывались широкие двери. Двойная лестница расходилась полукругом по этому вестибюлю, оставляя середину пустой, а на втором этаже обе ее половинки соединялись площадкой, наподобие мостика.

Внизу справа был вход в огромную гостиную, обтянутую штофными обоями с изображением птиц, порхающих среди листвы. Вся обивка на мебели, вышитая полукрестом, представляла собой иллюстрации к басням Лафонтена, и Жанна затрепетала от радости, увидев свой самый любимый в детстве стул, где изображена была история лисицы и журавля

Рядом с гостиной находилась библиотека, наполненная старинными книгами, и еще две нежилые комнаты; слева — столовая с новыми деревянными панелями, бельевая, буфетная, кухня и чуланчик, где помещалась ванна

Вдоль всего второго этажа шел коридор, куда открывались в ряд двери десяти комнат. В дальнем конце его, справа, была спальня Жанны. Они вошли туда По распоряжению барона ее только что обставили заново, пустив в дело мебель и драпировки, хранившиеся без употребления на чердаках

Шпалеры старинной фландрской работы населяли комнату диковинными фигурами.

При виде кровати Жанна вскрикнула от восторга. Четыре птицы из черного дуба, наощенного до глянца, поддерживали постель с четырех концов и, казалось, охраняли ее. По бокам тянулись широкие резные гирлянды цветов и фруктов; а четыре искусно выточенных колонки с коринфскими капителями подпирали карниз из переплетенных роз и купидонов.

Ложе было монументальное, но при этом очень изящное, невзирая на суровый вид дерева, потемневшего от времени.

Покрывало на постели и драпировки полога сияли, как два небосвода. Они были из

тяжелого старинного синего шелка с вытканными золотом крупными геральдическими лилиями.

Налюбовавшись кроватью, Жанна подняла свечу, стараясь разглядеть, что изображено на шпалерах. Молодой вельможа и молодая дама, причудливым образом разодетые в зеленое, красное и желтое, беседовали под голубым деревом, где созревали белые плоды. Огромный, тоже белый, кролик щипал скудную серую травку.

Над самыми головами действующих лиц в условном отдалении виднелось пять круглых домиков с остроконечными кровлями, а вверху, чуть не на небе, — яркокрасная ветряная мельница.

Все это было переплетено крупным узором в виде цветов. Два других гобелена во всем были сходны с первым, только на них из домиков выходили четыре человека, одетые по фламандской моде и воздевавшие руки к небу в знак крайнего изумления и гнева.

Но последний гобелен изображал драму. Возле кролика, продолжавшего щипать травку, молодой человек был простерт на земле, по-видимому, мертвый. Молодая дама, устремив на него взор, пронзала себе грудь шпагой, а плоды на деревьях почернели.

Жанна потеряла надежду понять что-либо, как вдруг заметила в углу крохотную зверушку, которую кролик, будь он живым, проглотил бы, как былинку. Однако же это был лев.

Тут Жанна узнала историю злосчастий Пирама и Тисбы; и хотя наивность изображений вызвала у нее улыбку, ей стало радостно при мысли, что ее будет постоянно окружать это любовное приключение, баюкая ее сладостными надеждами и осеняя ее сон страстью героев старинной легенды.

Остальная меблировка представляла собой смешение самых различных стилей. Здесь были вещи, которые остаются в семье от каждого поколения и превращают старинные дома в музеи всякой всячины. По бокам великолепного комода в стиле Людовика XIV, одетого в броню сверкающей меди, стояли кресла времен Людовика XV, сохранившие прежнюю свою обивку из шелка в букетах. Бюро розового дерева стояло напротив камина, где под круглым стеклянным колпаком красовались часы времен Империи.

Часы представляли собой бронзовый улей, стоявший на четырех мраморных колонках над садом из позолоченных цветов. Тонкий маятник спускался из продолговатого отверстия в улье и заставлял пчелку с эмалевыми крылышками вечно порхать над этим цветником.

В переднюю стенку улья вставлен был расписной фаянсовый циферблат.

Часы пробили одиннадцать. Барон поцеловал дочь и отправился к себе.

Тогда Жанна не без сожаления легла спать.

Окинув последним взглядом свою спальню, она погасила свечу. Но кровать только изголовьем упиралась в глухую стену, слева от нее было окно, оттуда падал сноп лунных лучей, и по полу разливалось светлое пятно.

Отблески лунного света отражались на стенах, бледные отблески, легкими касаниями ласкавшие любовь Пирама и Тисбы.

В другое окно, напротив, Жанне видно было большое дерево, все омытое мягким сиянием. Она повернулась на бок, закрыла глаза, но немного погодя опять открыла их.

Ее как будто все еще встряхивали толчки кареты, а грохот колес по-прежнему отдавался в голове. Сперва она пыталась лежать не шевелясь, надеясь, что скорее уснет таким образом; но беспокойство ума передавалось и телу.

По ногам пробегали мурашки, лихорадочное возбуждение усиливалось. Тогда она встала и, босая, с голыми руками, в одной длинной рубашке, придававшей ей вид привидения, перебежала лужицу света, разлитую на полу, распахнула окно и выглянула наружу.

Ночь выдалась такая светлая, что видно было, как днем; девушка узнавала всю местность, любимую ею когда-то в раннем детстве.

Прежде всего, прямо перед ней расстился широкий газон, желтый, как масло, при ночном свете Два дерева-гиганта возвышались по обоим его краям перед домом, с севера —

платан, с юга — липа

В самом конце обширной лужайки небольшая роща замыкала усадьбу, защищенную от морских бурь пятью рядами древних вязов, согнутых, изломанных, источенных, точно крыша срезанных вкось вечно бушующим ветром с океана

Это подобие парка было ограничено справа и слева двумя длинными аллеями громадных тополей, которые отделяли хозяйский дом от двух примыкающих к нему ферм, одну занимало семейство Куяр, другую — семейство Мартен.

Эти тополя дали имя поместью. За их стеной простиралась невозделанная, поросшая дроком равнина, где ветер свистал и резвился ночью и днем. Дальше берег сразу обрывался стометровым утесом, крутым и белым, подножье которого омывало волнами.

Жанна видела вдали подернутую рябью длинную полосу океана, который как будто дремал под звездным небом

Отдыхавшая от солнца земля источала все свои ароматы Жасмин, обвивший окна нижнего этажа, распространял свое резкое, пряное благоухание, и оно смешивалось с нежным запахом распускающихся почек Неторопливые ветерки приносили крепкий соленый вкус моря и терпкие испарения водорослей

Девушка сперва наслаждалась просто тем, что дышала, и деревенский покой умиротворял ее, как прохладная ванна.

Все зверье, просыпающееся к вечеру и скрывающее свое безвестное существование в тишине ночей, наполняло полумрак беззвучным оживлением Большие птицы проносились в воздухе без единого крика, точно пятна, точно тени, жужжание невидимых насекомых едва задевало слух. Что-то неслышно двигалось по песку пустынных дорожек и по траве, напитанной росой

Лишь тоскующие жабы отрывисто и однотонно квакали на луну.

Жанне казалось, что сердце ее ширится, наполняется шепотом, как эта ясная ночь, и внезапно оживляется сонмом залетных желаний, подобных бесчисленным жизням, которые копошатся в ночной тьме. Какое-то сродство было между ней и этой живой поэзией, и в теплой белизне летнего вечера ей чудились неземные содрогания, трепет неуловимых надежд, что-то близкое к дуновению счастья.

И она стала мечтать о любви.

Любовь! Два года уже нарастал в ней страх приближающейся любви Теперь ей дана свобода любить; только надо встретить его. Его!

Какой он будет? Этого она не представляла себе и даже не задумывалась над этим. Он будет он, вот и все

Она знала одно, что будет любить его всем сердцем, а он — обожать ее всеми силами души В такие вечера, как этот, они пойдут гулять под светящимся пеплом звезд. Они пойдут рука об руку, прижавшись один к другому, ясно слыша биение сердца друга, ощущая теплоту плеч, и любовь их будет сливаться с тихой негой теплой летней ночи, и между ними будет такая близость, что они легко, одной лишь силой чувства, проникнут в сокровеннейшие мысли друг друга.

И это будет длиться без конца, в безмятежности нерушимой любви

И вдруг она словно ощутила его тут, около себя, и смутный чувственный трепет пробежал по ней с головы до пят Бессознательным движением она прижала руки к груди, как будто желая обнять свою мечту; и губ ее, раскрытых навстречу неизвестному, коснулось то, от чего она едва не лишилась сознания, — словно дыхание весны подарило ей первый поцелуй любви.

Но вот где-то во тьме, позади дома, на дороге раздалась шаги. И жар смятенной души, прилив веры в невозможное, в счастливые случайности, в сверхъестественные предчувствия, в романтические хитросплетения судьбы внушили ей мысль — «Что, если это он?» Она напряженно прислушивалась к мерным шагам прохожего, не сомневаясь, что он постучится у ворот и попросит приютить его

Когда он прошел мимо, ей стало грустно, как будто ее и в самом деле постигло

разочарование. Но она тут же поняла фантастичность своих надежд и улыбнулась своему безумию

Тогда, успокоившись немного, она предалась более разумным мечтам — пыталась заглянуть в будущее, строила планы всей дальнейшей жизни.

Она будет жить с ним здесь, в этом мирном доме... возвышающемся над морем. У них, наверно, будет двое детей: для него — сын, для нее — дочка. И она уже видела, как они резвятся на лужайке между платаном и липой, а отец и мать следят за ними восхищенным взором, обмениваясь через их головы взглядами, полными страсти.

Долго-долго сидела она так, погружившись в грезы, уж и луна совершила свой путь по небу и собралась скрыться в море. Воздух посвежел. Горизонт стал бледнеть к востоку. На ферме справа пропел петух; другие отозвались на ферме слева. Их хриплые голоса, приглушенные стенками курятников, казалось, доносились очень издалека; на высоком, постепенно светлевшем своде небес стали исчезать звезды.

Где-то вдали чирикнула птичка. В листве раздалось щебетанье; сперва робкое, оно мало-помалу окрепло, стало звонким, переливчатым, понеслось с ветки на ветку, с дерева на дерево.

Жанна вдруг почувствовала, что ее заливают яркий свет; она подняла опущенную на руки голову и зажмурилась, ослепленная сиянием зари.

Гряда багряных облаков, полускрытая тополевой аллеей, бросала кровавые блики на просыпающуюся землю.

И, прорывая лучистую пелену, зажигая искрами деревья, долины, океан, весь горизонт, неторопливо выплыл гигантский огненный шар.

У Жанны ум мутился от блаженства. Безудержная радость, безграничное умиление перед красотой мира, затопило ее замиравшее сердце. Это было ее солнце! Ее заря! Начало ее жизни! Утро ее надежд! Она протянула руки к просветлевшим далям, словно порываясь обнять самое солнце; ей хотелось сказать, крикнуть что-то такое же чудесное, как это рождение дня, но она словно оцепенела, онемела в бессильном восторге. Тогда, почувствовав, что глаза ее увлажняются, она уронила голову на руки и заплакала сладостными слезами.

Когда она подняла голову, великолепное зрелище занимающегося дня исчезло. И сама она успокоилась, немного утомленная и как будто отрезвевшая. Не закрывая окна, она легла в постель, помечтала еще несколько минуток и заснула так крепко, что не слышала, как отец звал ее в восемь часов, и проснулась, только когда он вошел в комнату.

Ему не терпелось показать ей новую отделку дома, ее дома.

Задний фасад отделялся от дороги обширным двором, обсаженным яблонями. Дорога пролежала между крестьянскими усадьбами и на пол-лье дальше выводила к шоссе между Гавром и Феканом.

Прямая аллея шла от деревянной ограды до крыльца. По обе стороны двора, вдоль рвов, отделявших фермы, были расположены службы — низенькие строения из морской гальки, крытые соломой.

Кровли были обновлены; деревянные части подправлены, стены починены, комнаты оклеены, все внутри окрашено заново. И на сером фасаде старого хмурого барского дома, словно пятна, выделялись свежеекрашенные в серебристо-белый цвет ставни и заплатки штукатурки.

Другой стороной, той, куда выходило одно из окон комнаты Жанны, дом глядел на море, поверх роши и сплошной стены согнутых ветром вязов.

Жанна и барон рука об руку обошли все до последнего уголка; потом они долго гуляли по длинным тополевым аллеям, окаймлявшим так называемый парк. Между деревьями уже выросла трава и устилала землю зеленым ковром, а рошица в конце парка заманчиво переплетала свои извилистые тропинки, проложенные среди свежей травы. Внезапно, напугав девушку, откуда-то выскочил заяц, перемахнул через откос и пустился сквозь камыши к прибрежным скалам.

После завтрака, когда мадам Аделаида, все еще не отдохнувшая, заявила, что хочет прилечь, барон предложил Жанне спуститься к Ипору.

Они отправились в путь и сперва пересекли деревушку Этуван, к которой примыкали Тополя. Трое крестьян поклонились им, как будто знали их испокон века.

Затем они вступили в лес, спускавшийся по склону волнистой долины к самому морю.

Вскоре они добрались до селения Ипор. Женщины сидели на крылечках домов за починкой своего тряпья и глядели им вслед. Улица со сточной канавой посредине и горами мусора у ворот шла под гору и была пропитана крепким запахом рассола. Возле лачуг сушились бурые сети, в которых кой-где застряли чешуйки, блестящие, как серебряные монеты, а из дверей тянуло затхлым воздухом тесного жилья.

Голуби, прогуливаясь по краю канавы, искали себе пропитания.

Жанна глядела кругом, и все ей казалось интересным и новым, как в театре.

Но вдруг за каким-то поворотом ей открылось море; мутно-голубое и гладкое, оно расстилалось без конца и края.

Жанна и барон остановились у пляжа и стали смотреть. В открытом море, точно крылья птиц, белели паруса. Справа и слева возвышались огромные утесы. С одной стороны даль была загорожена мысом, а с другой береговая линия тянулась до бесконечности и терялась где-то еле уловимой чертой.

В одном из ближних ее поворотов виднелась гавань и кучка домов; а мелкие волны, точно кайма пены по краю моря, шурша, набегали на песок.

Вытянутые на каменистый берег лодки местных жителей лежали на боку, обратив к солнцу свои выпуклые скулы, лоснившиеся от смолы. Рыбаки осматривали их перед вечерним приливом. Подошел один из матросов, он продавал рыбу, и Жанна купила камбалу, с тем чтобы самой принести ее в Тополя.

После этого моряк предложил свои услуги для прогулок по морю, несколько раз подряд повторив свое имя, чтобы оно осталось у господ в памяти: «Ластик, Жозефен Ластик».

Барон обещал запомнить. И они тронулись в обратный путь.

Жанне было тяжело нести большую рыбу, она продела сквозь ее жабры отцовскую трость, взялась сама за один конец, барон за другой, и они весело зашагали в гору, болтая, как двое ребяташек; волосы у них развевались на ветру, глаза блестели, а камбала, оттянувшая им руки, мела траву своим жирным хвостом.

II

Чудесная, привольная жизнь началась для Жанны. Она читала, мечтала и одна блуждала по окрестностям. Ленивым шагом бродила она по дорогам, погружившись в мечты, или же сбегала вприпрыжку по извилистым ложбинкам, края которых были покрыты, точно золотистой ризой, порослью цветущего дрока Его сильный и сладкий запах, ставший резче от зноя, пьянил, как ароматное вино, а далекий прибой баюкал своим мерным шумом.

Иногда чувство истомы заставляло ее прилечь на поросшем травой склоне, а иногда, увидев за поворотом долины в выемке луга треугольник синего, сверкающего под солнцем моря с парусом на горизонте, она испытывала приливы бурной радости, словно таинственное предчувствие счастья, которое ей суждено.

Покой и прохлада этого края, его умиротворяюще мягкие ландшафты внушали ей любовь к одиночеству. Она столько времени, не шевелясь, просиживала на вершинах холмов, что дикие крольчата принимались прыгать у ее ног.

Часто она бегала по кряжу, под легким прибрежным ветерком, и все в ней трепетало от наслаждения, — так упоительно было двигаться, не зная усталости, как рыбы в воде, как ласточки в воздухе.

И повсюду она сеяла воспоминания, как бросают семена в землю, те воспоминания, корни которых не вырвешь из сердца до самой смерти. Ей казалось, что она рассеивает по извилинам этих долин крупы собственного сердца.

Она до страсти увлекалась плаванием. Будучи сильной и храброй, она заплывала невесть куда и не задумывалась об опасности. Ей хорошо было в этой холодной, прозрачной голубой воде, которая, покачивая, держала ее. Отплыв подальше от берега, она ложилась на спину, складывала руки на груди и устремляла взгляд в густую лазурь неба, по которой то проносились ласточки, то реял белый силуэт морской птицы. Кругом не слышно было ни звука, только далекий рокот прибоя, набегавшего на песок, да смутный гул, доносившийся с земли сквозь плеск волн, — невнятный, еле уловимый гул.

Потом Жанна поднималась и в опьянении счастья, громко вскрикивая, плескала обеими руками по воде.

Случалось, когда она заплывала слишком далеко, за ней посылали лодку.

Она возвращалась домой, бледная от голода, но веселая, с ощущением легкости, с улыбкой на губах и радостью во взгляде.

А барон замыслил и обдумывал грандиозные сельскохозяйственные мероприятия: он собирался заняться экспериментами, ввести усовершенствования, испробовать новые орудия, привить чужеземные культуры; он проводил часть дня в беседах с крестьянами, которые недоверчиво покачивали головой, слушая про его затеи.

Нередко также он выходил в море с ипорскими рыбаками. Осмотрев окрестные пещеры, источники и утесы, он пожелал заняться рыбной ловлей, как простые моряки.

В ветреные дни, когда раздутый парус мчит по гребням волн пузатый корпус баркаса и когда от каждого борта убегает в глубь моря длинная леса, за которой гонятся стаи макрели, барон держал в судорожно сжатой руке тонкую бечевку и ощущал, как она вздрагивает, едва на ней затрепыхается пойманная рыба.

В лунные ночи он отправлялся вытаскивать сети, закинутые накануне. Ему было приятно слушать скрип мачты и дышать свежим ночным ветром, налетавшим порывами. И после того как лодка долго лавировала в поисках буев, руководствуясь каким-нибудь гребнем скалы, кровлей колокольни или феканским маяком, ему нравилось сидеть неподвижно, наслаждаясь первыми лучами восходящего солнца, от которых блестели на дне лодки липкая спина веерообразного ската и жирное брюхо палтуса.

За столом он восторженно рассказывал о своих похождениях, а маменька, в свою очередь, сообщала ему, сколько раз она прошла по большой тополевой аллее, той, что направо, вдоль фермы Куяров, так как левая была слишком тениста.

Ей было предписано «побольше двигаться», и потому она усердно гуляла. Едва только рассеивался ночной холодок, как она выходила, опираясь на руку Розали. Закутана она была в пелерину и две шали, голову ей покрывал черный капор, а поверх его — красная вязаная косынка.

И вот, волоча левую ногу, ставшую менее подвижной и уже проложившую вдоль всей аллеи две пыльные борозды с выбитой травой, маменька непрерывно повторяла путешествие по прямой линии от угла дома до первых кустов рощицы. Она велела поставить по скамейке на концах этой дорожки и каждые пять минут останавливалась, говоря несчастной, долготерпеливой горничной, поддерживавшей ее:

— Посидим, милая, я немножко устала.

И при каждой остановке она бросала на скамью сперва косынку с головы, потом одну шаль, потом вторую, потом капор и, наконец, мантилью; из всего этого на обеих скамейках получались две груды одежды, которые Розали уносила, перекинув через свободную руку, когда они возвращались к завтраку.

Под вечер баронесса возобновляла прогулку уже более вялым шагом, с более длительными передышками и даже иногда дремала часок на шезлонге, который ей выкатывали наружу.

Она говорила, что это «ее моцион», точно так же, как говорила «моя гипертрофия».

Врач, к которому обратились десять лет назад, потому что она жаловалась на одышку, назвал болезнь гипертрофией. С тех пор это слово засело у нее в голове, хотя смысл его был ей неясен. Она постоянно заставляла и барона, и Жанну, и Розали слушать, как бьется у нее

сердце, но никто уже не слышал его, настолько глубоко было оно запрятано в толще ее груди; однако она решительно отказывалась обратиться к другому врачу, боясь, как бы он не нашел у нее новых болезней; зато о «своей гипертрофии» она толковала постоянно, по любому поводу, словно этот недуг присущ был ей одной и являлся ее собственностью, как некая редкость, недоступная другим людям.

Бархш говорил «гипертрофия моей жены», а Жанна — «мамина гипертрофия», как сказали бы: мамино платье, шляпа, зонтик.

Смолоду она была очень миловидна и тонка, как тростинка. Она вальсировала со всеми мундирами Империи, проливая слезы над «Коринной», и чтение этого романа оставило в ней неизгладимый след.

По мере того как стан ее становился грузнее, устремления души становились все возвышеннее; и когда ожирение приковало ее к креслу, фантазия ее обратилась к сентиментальным похождениям, где она бывала неизменной героиней. Некоторые из них особенно полюбились ей, и она постоянно возобновляла их в мечтах, как музыкальная шкатулка твердит одну и ту же мелодию. Все чувствительные романы, где идет речь о пленницах и ласточках, вызывали у нее на глазах слезы; и она даже любила те из игривых песенок Беранже, в которых выражались сожаления о прошлом.

Она часами просиживала неподвижно, витая в грезах. Жизнь в Тополях очень нравилась ей, потому что создавала подходящую обстановку для ее воображаемых романов, а окрестные леса, пустынные ланды и близость моря напоминали ей книги Вальтера Скотта, которые она читала последнее время.

В дождливые дни она безвыходно сидела у себя в спальне и перебирала то, что называла своими «реликвиями». Это были старые письма — письма ее отца и матери, письма барона в бытность его женихом и еще другие.

Она держала их в бюро красного дерева с медными сфинксами по углам и произносила особенным тоном:

— Розали, милая моя, принеси-ка мне ящик с сувенирами.

Горничная отпирала бюро, вынимала ящик, ставила его на стул возле баронессы, и та принималась читать эти письма медленно, одно за другим, время от времени роняя на них слезу.

Иногда Жанна заменяла на прогулках Розали, и маменька рассказывала ей о своем детстве. Девушка как будто видела себя в этих давних историях и поражалась общности их мыслей и сходству желаний; ибо каждый думает, что его сердце первым забило под наплывом чувств, от которых стучало сердце первого человека и будут трепетать сердца последних мужчин и последних женщин.

Их медлительный шаг соответствовал медлительности рассказа, то и дело прерывался маменькиной одышкой, и тогда Жанна мысленно опережала начатое приключение и устремлялась к будущему, переполненному радостями, упивалась надеждами.

Как-то днем они сели отдохнуть на дальней скамейке и вдруг увидели, что с другого конца аллеи к ним направляется толстый священник.

Он издали поклонился, заулыбался, поклонился еще раз, когда был в трех шагах от них, и произнес:

— Как изволите поживать, баронесса?

Это был местный кюре.

Маменька родилась в век философов, воспитана была в эпоху революции отцом-вольнодумцем и в церкви почти не бывала, но священников любила в силу чисто женского религиозного инстинкта.

Она совершенно забыла про аббата Пико, кюре их прихода, и покраснела, увидев его. Она поспешила извиниться, что не нанесла первого визита. Но толстяк, по-видимому, и не думал обижаться; он посмотрел на Жанну, выразил удовольствие по поводу ее цветущего вида, уселся, положил на колени свою треуголку и отер лоб. Он был очень тучен, очень красен и потел обильно. То и дело вытаскивал он из кармана огромный клетчатый платок,

весь пропитанный потом, и проводил им по лицу и шее; но едва только влажная тряпица исчезала в черных недрах обширного кармана, как новые капли испарины падали со лба на рясу, оттопыренную на животе, оставляя круглые пятнышки прибитой пыли.

Он отличался терпимостью, как истый деревенский священник, был весельчак, болтун и добрый малый. Он рассказал множество историй об окрестных жителях, сделал вид, будто и не заметил, что обе его прихожанки еще ни разу не побывали у обедни, — баронесса от лености и маловерия, а Жанна от радости, что вырвалась из монастыря, где ей прискучили религиозные церемонии.

Появился барон. Как пантеист, он был равнодушен к обрядности, но с аббатом обошелся вежливо и оставил его обедать.

Кюре сумел быть приятным, ибо он обладал той бессознательной ловкостью, какую привычка руководить душами дает даже людям недалеким, когда они по воле случая имеют власть над себе подобными.

Баронесса обласкала его, — должно быть, ее подкупило сходство, сближающее людей одного типа: полнокровие и одышка толстяка были сродни ее пыхтящей тучности.

За десертом он уже говорил без стеснения, фамильярным тоном, балагурил, как полагается подвыпившему кюре в конце веселой пирушки.

И вдруг, словно его осенила удачная мысль, он вскричал:

— Да, кстати, ведь у меня новый прихожанин, виконт де Ламар. Надо непременно представить его вам!

Баронесса как свои пять пальцев знала родословные всей провинции.

— Это семья де Ламар из Эра? — спросила она.

Священник утвердительно наклонил голову.

— Совершенно верно, сударыня, его отец, виконт Жан де Ламар, скончался в прошлом году.

Тогда мадам Аделаида, ставившая дворянство выше всего, забросала кюре вопросами и узнала, что после уплаты отцовских долгов и продажи родового поместья молодой человек временно устроился на одной из трех своих ферм в Этуванской общине. Эти владения давали в общей сложности от пяти до шести тысяч ливров дохода; но виконт был бережливого и рассудительного нрава; он рассчитывал скромно прожить два-три года в своем домишке, скопить денег, чтобы занять достойное положение в свете, не делая долгов и не закладывая ферм, и найти невесту с приданым.

Кюре добавил:

— Он весьма приятный молодой человек; и тихий такой, положительный. Только невесело живется ему здесь.

— Приведите его к нам, вот у него и будет хоть изредка развлечение, — заметил барон.

И разговор перешел на другие темы. Когда после кофе все направились в гостиную, священник попросил разрешения пройтись по парку, так как он привык гулять после еды. Барон вызвался сопровождать его. Они медленно шагали взад и вперед вдоль белого фасада дома. Их тени, одна длинная, другая круглая и как будто накрытая грибом, бежали то впереди них, то позади, в зависимости от того, шли ли они навстречу луне или в обратную сторону. Кюре вынул из кармана нечто вроде папиросы и сосал ее. С деревенской откровенностью он объяснил ее назначение:

— Это вызывает отрыжку, а у меня пища переваривается трудно.

Потом, внезапно взглянув на небо, где шествовало яркое светило, он изрек:

— На это зрелище никогда не наглядисься.

И пошел проститься с дамами.

III

В следующее воскресенье баронесса и Жанна, из деликатного внимания к своему кюре, отправились в церковь.

После обедни они подождали его, чтобы пригласить к себе на завтрак в четверг.

Он вышел из ризницы с щеголеватым, стройным молодым человеком, по-приятельски державшим его под руку. Увидев дам, кюре воскликнул с жестом радостного удивления:

— Вот удача! Баронесса, мадемуазель Жанна, разрешите представить вам соседа вашего, виконта де Ламар!

Виконт поклонился, сказал, что давно уже желал этого знакомства, и принялся болтать с непринужденностью бывалого светского человека. У него была счастливая наружность, неотразимая для женщин и неприятная для всех мужчин. Черные волнистые волосы бросали тень на гладкий загорелый лоб, а ровные, широкие, словно нарисованные брови придавали томность и глубину карим глазам с голубоватыми белками.

От густых и длинных ресниц взгляд его был так страстно красноречив, что волновал горделивую красавицу в гостиной и заставлял оборачиваться девушку в чепце, идущую по улице с корзинкой.

Этот обольстительный нежный взор, казалось, таил такую глубину мысли, что каждое слово приобретало особую значительность.

Густая холеная мягкая бородка скрадывала несколько тяжеловатую челюсть.

Обменявшись любезностями, новые знакомые расстались.

Два дня спустя г-н де Ламар нанес первый визит.

Он явился, как раз когда обновляли широкую скамью, поставленную в то же утро под большим платаном напротив окон гостиной. Барон хотел, чтобы поставили ей парную под липой, а маменька, противница симметрии, не хотела.

Виконт, когда спросили его совета, принял сторону баронессы.

Потом он заговорил об их местности, заявил, что находит ее очень «живописной», так как обнаружил во время своих одиноких прогулок немало «чудеснейших видов». По временам глаза его, будто случайно, встречались с глазами Жанны; и ее непривычно тревожил этот быстрый, ускользающий взгляд, в котором можно было прочесть вкрадчивое восхищение и живой интерес.

Господин де Ламар-старший, скончавшийся за год до того, был знаком с близким другом г-на де Кюльто, маменькиного отца; после того как было установлено это знакомство, завязался нескончаемый разговор о свойстве, родстве и хронологии. Баронесса обнаруживала чудеса памяти, устанавливая восходящие и нисходящие родственные связи знакомых семейств и безошибочно лавируя по запутанному лабиринту родословных.

— Скажите, виконт, вам не приходилось слышать о семействе Сонуа из Варфлера? Их старший сын Гонтран женился на девице де Курсиль из семьи Курсилей курвильских, младший же — на моей кузине, мадемуазель де ла Рош-Обер, которая была в свойстве с Кризанжами. А господин де Кризанж был приятелем с моим отцом, а потому, вероятно, знал и вашего

— Совершенно верно, сударыня. Ведь это тот господин де Кризанж, который эмигрировал, а сын его разорился?

— Он самый Он сватался к моей тетке после смерти ее мужа, графа д'Эретри, но она ему отказала, потому что он нюхал табак. Кстати, не знаете, что случилось с Вилузами? Они выехали из Турени около тысяча восемьсот тринадцатого года, после того как семья их разорилась, и поселились в Оверни; но больше я о них ничего не слыхала.

— Сколько мне помнится, сударыня, старый маркиз упал с лошади и расшибся насмерть. После него остались две дочери — одна замужем за англичанином, а вторая за неким Бассолем, коммерсантом, богатым человеком. Он, говорят, соблазнил ее.

И фамилии, слышанные от бабушек и запомнившиеся с детства, то и дело всплывали в разговоре. Брачные союзы между родовитыми семьями становились в их воображении событиями общественной важности. О людях, которых не видели никогда, они говорили так, словно коротко знали их; а эти люди, в других местах, точно так же говорили о них самих, и на расстоянии они чувствовали себя близкими, чуть не друзьями, чуть не родными только потому, что принадлежали к одному классу, к одной касте, были одинаковой крови.

Барон от природы был нелюдим и воспитание получил, не соответствующее верованиям и предрассудкам своей среды, а потому мало знал своих соседей и решил расспросить о них виконта.

— Ну, у нас в округе почти нет дворянства, — отвечал г-н де Ламар тем же тоном, каким сказал бы, что на побережье почти не водятся кроликов, и тут же привел подробности. Поблизости проживало всего три семейства: маркиз де Кутелье, глава нормандской аристократии; виконт и виконтесса де Бризвиль, люди очень хорошего рода, но довольно необщительные, и, наконец, граф де Фурвиль, — этот слыл каким-то чудовищем, будто бы жестоко тиранил жену и жил у себя в замке Лаврийет, построенном на пруду, проводя все время на охоте

Несколько выскочек купили себе имения в окрестностях и вели знакомство между собой Виконт с ними не знался.

Наконец он откланялся, последний взгляд он бросил на Жанну, как будто говоря ей особое прости, более сердечное и более нежное

Баронесса нашла его очень милым, а главное — вполне светским Папенька согласился:

— Да, конечно, он человек благовоспитанный.

На следующей неделе виконта пригласили к обеду. И он сделался у них постоянным гостем.

Обычно он приходил днем, часа в четыре, отправлялся прямо на «маменькину аллею» и предлагал баронессе руку, чтобы сопутствовать ей во время «ее моциона». Когда Жанна была дома, она поддерживала маменьку с другой стороны, и так, втроем, они медленно бродили из конца в конец по длинной прямой аллее. Виконт почти не разговаривал с девушкой Но глаза его, глаза как из черного бархата, часто встречались с глазами Жанны, будто сделанными из голубого агата.

Несколько раз они спускались в Ипор вместе с бароном

Как-то вечером, на пляже, к ним подошел дядя Ластик и, не вынимая изо рта трубки, отсутствие которой было бы, пожалуй, удивительнее, чем исчезновение у него носа, заявил:

— По такой погодке, господин барон, не худо бы завтра прокатиться до Этрета и обратно.

Жанна просительно сложила руки:

— Папа, ну пожалуйста!

Барон повернулся к г-ну де Ламар:

— Согласны, виконт. Мы бы там позавтракали.

И прогулка была тотчас решена.

Жанна встала с рассветом. Она подождала отца, который одевался не спеша, и они вместе зашагали по росе, сперва полями, потом лесом, звеневшим от птичьего гомона.

Виконт и дядя Ластик сидели на кабестане

Еще два моряка помогали при отплытии. Упершись плечами в борт судна, мужчины налегали изо всех сил. Лодка с трудом двигалась по каменистой отмели Ластик подсовывал под киль деревянные катки, смазанные салом, потом становился на свое место и тянул нескончаемое «гой-го», чтобы согласовать общие усилия.

Но когда достигли спуска, лодка вдруг помчалась вперед и скатилась по гальке с треском рвущегося холста

У пенистой каемки волн она остановилась как вкопанная, и все разместились на скамьях Потом двое матросов, оставшихся на берегу, столкнули ее в воду.

Легкий ровный ветерок с моря рябил водную гладь. Поднятый парус слегка надулся, и лодка поплыла спокойно, еле качаясь на волнах.

Сперва шли прямо в открытое море У горизонта небо опускалось и сливалось с океаном У берега большая тень падала от подножья отвесного скалистого утеса, а склоны его, кое-где поросшие травой, были залиты солнцем

Позади бурые паруса отплывали от белого феканского мола, а впереди скала странной формы, закругленная и продырявленная насквозь, напоминала огромного слона, который

погрузил хобот в море. Это были «Малые ворота» Этрета.

У Жанны от качки слегка кружилась голова, она держалась рукой за борт и смотрела вдаль; и ей казалось, что в мире нет ничего прекраснее света, простора и воды

Все молчали Дядя Ластик управлял рулем и шкотом и по временам прикладывался к бутылке, спрятанной у него под скамьей; при этом он не переставая курил свой огрызок трубки, казалось, неугасимой. Из трубки постоянно шел столбик синего дыма, а другой, такой же точно, выходил из угла его рта Никто никогда не видел, чтобы моряк набивал табаком или разжигал глиняную головку трубки, ставшую темнее черного дерева. Иногда он отнимал трубку от губ и через тот же уголок рта, откуда шел дым, сплевывал в море длинную струю бурой слюны.

Барон сидел на носу и, заменяя матроса, присматривал за парусом. Жанна и виконт оказались рядом; оба были немного смущены этим. Неведомая сила скрещивала их взгляды, потому что они, как по наитию, в одно время поднимали глаза; между ними уже протянулись нити смутной и нежной симпатии, так быстро возникающей между молодыми людьми, когда он недурен, а она миловидна. Им было хорошо друг возле друга, вероятно, оттого, что они думали друг о друге.

Солнце поднималось, словно затем, чтобы сверху полюбоваться простором моря, раскинувшегося под ним; но море, словно из кокетства, оделось вдруг легкой дымкой и закрылось от солнечных лучей Это был прозрачный туман, очень низкий, золотистый, он ничего не скрывал, а только смягчал очертания далей. Светило пронизывало своими огнями и растворяло этот сияющий покров; а когда оно обрело всю свою мощь, дымка испарилась, исчезла, и море, гладкое, как зеркало, засверкало на солнце.

Жанна взволнованно прошептала:

— Как красиво!

— Да, очень красиво, — подтвердил виконт.

Ясная безмятежность этого утра находила какое-то созвучие в их сердцах.

Вдруг показались «Большие ворота» Этрета, похожие на две ноги утеса, шагающего в море, настолько высокие, что под ними могли проходить морские суда; перед ближней возвышался белый и острый шпиль скалы.

Лодка причалила, и, пока барон, выскочив первым, притягивал ее к берегу канатом, виконт на руках перенес Жанну на сушу, чтобы она не замочила ног; потом они стали подниматься бок о бок по крутому кремнистому берегу, взволнованные этим мимолетным объятием, и вдруг услышали, как дядя Ластик говорил барону:

— Прямо скажу, ладная вышла бы парочка.

Позавтракали отлично в трактирчике у самого берега. В лодке они все молчали, — океан приглушал голос и мысль, а тут, за столом, стали болтливы, как школьники на каникулах.

Любой пустяк служил поводом для необузданного веселья.

Дядя Ластик, садясь к столу, бережно запрятал в берет свою трубку, хотя она еще дымила, и все рассмеялись. Муха, которую, должно быть, привлекал красный нос Ластика, несколько раз садилась на него, а когда неповоротливый матрос смахнул ее, но не успел поймать, она «расположилась на кисейной занавеске, где многие ее сестры уже оставили следы, и оттуда, казалось, жадно сторожила этот багровый выступ, поминутно пытаясь снова сесть на него.

При каждом полете мухи раздавался взрыв хохота, а когда старику надоела эта возня и он проворчал:» Экая язва «, — у Жанны и виконта даже слезы выступили от смеха, они корчились, задыхались и зажимали себе рот салфеткой.

После кофе Жанна предложила:

— Не пойти ли нам погулять?

Виконт поднялся, но барон предпочел полежать на пляже и погреться на солнышке.

— Ступайте, детки, я буду ждать вас здесь через час.

Они напрямик пересекли деревушку из нескольких лачуг, потом миновали маленький

барский дом, скорее похожий на большую ферму, и очутились на открытой равнине, уходившей перед ними вдаль.

Колыханье волн вселило в них истому, вывело из обычного равновесия, морской соленый воздух возбуждал аппетит, завтрак опьянил их, а смех взвинтил нервы. Теперь они были в каком-то чаду, им хотелось бегать без оглядки по полям. У Жанны звенело в ушах, она была взбудоражена новыми, непривычными ощущениями.

Жгучее солнце палило их. По обеим сторонам дороги клонились спелые хлеба, поникшие от зноя. Неисчислимы, как травинки в поле, кузнечики надрывались, наполняя все — поля ржи и пшеницы, прибрежные камыши — своим резким, пронзительным стрекотанием.

Других звуков не было слышно под раскаленным небом, изжелта-синим, как будто оно, того и гляди, станет красным, подобно металлу вблизи огня.

Они заметили поодаль вправо лесок и направились туда.

(Между двумя откосами, под сенью огромных деревьев, непроницаемых для солнца, тянулась узкая дорога. Когда они вступили на эту дорогу, на них пахло плесенью, промозглой сыростью, которая проникает в легкие и вызывает озноб. От недостатка воздуха и света трава здесь не росла, и землю устилал только мох.

Они шли все дальше.

— Смотрите, вот где мы можем посидеть, — сказала Жанна.

Здесь стояли два старых засохших дерева, и, пользуясь прогалиной в листве, сюда врвался поток света; согревая землю, он пробудил к жизни семена трав, одуванчиков, вьюнков, вырастил воздушные, как дымка, зонтики белых лепестков и соцветия наперстянки, похожие на веретенца. Бабочки, пчелы, неуклюжие шершни, гигантские комары, напоминающие остовы мух, множество крылатых насекомых, пунцовые в крапинку божьи коровки, жуки, отливающие медью, и другие — черные, рогатые, наполняли этот жаркий световой колодец, прорытый в холодной тенистой чаше.

Молодые люди уселись так, чтобы голова была в тени, а ноги грелись на солнце. Они наблюдали возню всей этой мелкоты, зародившейся от одного солнечного луча, и Жанна в умилении твердила:

— Как тут хорошо! Как прекрасна природа! Иногда мне хочется быть мошкой или бабочкой и прятаться в цветах.

Они говорили о себе, о своих привычках, вкусах, и тон у них был приглушенный, задушевный, каким делают признания. Он уверял, что ему опостылел свет, надоела пустая жизнь — вечно одно и то же; нигде не встретишь ни искренности, ни правды.

Свет! Ей бы очень хотелось повидать его. Но она заранее была убеждена, что он не стоит деревенской жизни. И чем больше сближались их сердца, тем церемоннее называли они друг друга «виконт» и «мадемуазель», но тем чаще встречались и улыбались друг другу их глаза; и им казалось, что души их наполняются какой-то небывалой добротой, всеобъемлющей любовью, интересом ко всему тому, что не занимало их прежде,

Они возвратились, но оказалось, что барон отправился пешком посмотреть «Девичью беседку» — высокий грот в гребне скалы; они стали дожидаться его в трактире.

Он явился только в пять часов вечера, после долгой прогулки по берегу.

Тогда все снова уселись в лодку. Она плыла медленно, по ветру, без малейшего колыхания, как будто вовсе не двигалась. Ветер набегал неторопливыми теплыми дуновениями, и парус на миг натягивался, а потом снова безжизненно опадал вдоль мачты. Мутная водная пелена словно застыла; а солнце, утомившись горением, не спеша опускалось к ней по своей орбите.

Все опять притихли, убаюканные морем.

Наконец Жанна заговорила:

— Как бы мне хотелось путешествовать!

Виконт подхватил:

— Да, но одному путешествовать тоскливо, надо быть по меньшей мере вдвоем, чтобы

делиться впечатлениями.

Она задумалась.

— Это верно... а все-таки я люблю гулять одна, так приятно мечтать в одиночестве...

Он посмотрел на нее долгим взглядом.

— Можно мечтать и вдвоем.

Она опустила глаза. Это был намек? Вероятно. Она всматривалась в даль, словно надеясь заглянуть за черту горизонта, затем произнесла с расстановкой:

— Мне хотелось бы побывать в Италии... и в Греции... ах, да, в Греции... и еще на Корсике! Какая там, должно быть, дикая красота!

Его больше привлекала Швейцария, ее горные шале и озера.

— Нет, по-моему, лучше совсем неизведанные страны, вроде Корсики, или уж очень древние, полные воспоминаний, вроде Греции. Как, должно быть, приятно находить следы тех народов, историю которых мы знаем с детства, и видеть места, где Совершались великие деяния.

Виконт, человек более положительный, возразил:

— Меня очень интересует Англия, там есть чему поучиться.

И они пустились путешествовать по всему свету, от полюса до экватора, обсуждали достоинства каждой страны, восторгались воображаемыми ландшафтами и фантастическими нравами некоторых народов, например, китайцев или лапландцев; но в конце концов пришли к заключению, что нет в мире страны прекраснее Франции, где климат такой мягкий — летом прохладно, зимой тепло, где такие пышные луга, зеленые леса, широкие, плавные реки и такое благоговение перед искусствами, какого не было нигде после золотого века Афин.

Потом они замолчали.

Солнце спускалось все ниже и, казалось, кровоточило; широкий огненный след, словно сверкающая дорожка, тянулся по глади океана от горизонта до струи за кормой лодки.

Последние дуновения ветра стихли, исчезла малейшая рябь, а неподвижный парус заалелся. Беспредельная тишь словно убаюкала просторы, все смолкло перед этой встречей двух стихий, и, нежась и выгибая под сводом неба свое сверкающее переливчатое лоно, водная стихия, невеста-великанша, ожидала огненного жениха, нисходившего к ней. Он спешил опуститься, пылая как бы от жажды объятий. Он коснулся ее, и мало-помалу она его поглотила.

Тогда с горизонта потянуло прохладой; волной тронуло зыбкое лоно моря, словно солнце, утопая, бросило в мир вздох успокоения.

Сумерки длились недолго; распростерлась ночь, испещренная звездами. Дядя Ластик взялся за весла; все заметили, что море светится. Жанна и виконт, сидя рядом, смотрели на подвижные огоньки за кормой лодки. Почти без мыслей, в смутном созерцании, они блаженно впитывали отраду вечера; рука Жанны опиралась на скамью, и вот палец соседа, словно нечаянно, Дотронулся до нее; девушка не шевельнулась, удивленная, счастливая и смущенная этим легким прикосновением.

Вечером она вернулась к себе в комнату необычайно взволнованная и растревоженная, так что ей хотелось плакать от всего. Она взглянула на часы, подумала, что пчелка будет свидетельницей всей ее жизни, будет своим частым и ровным тиканьем откликаться на ее радости и горе, и остановила позолоченную мушку, чтобы поцеловать ее крылышки. Она готова была расцеловать все на свете. Она вспомнила, что запрятала в какой-то ящик старую куклу. Отыскав ее, она так обрадовалась, словно встретилась с любимой подругой, и, прижимая игрушку к груди, осыпала страстными поцелуями ее крашенные щеки и кудельные локоны.

Все еще держа куклу в руках, она задумалась.

Он ли это, супруг, которого сулили ей тысячи тайных голосов, очутился теперь на ее пути по воле всеблагого провидения? Он ли это, тот, кто создан для нее и кому она отдаст всю жизнь? Неужто они двое суждены друг другу, и чувства их, встретившись, соединятся,

сольются нерасторжимо, породят любовь?

Она еще не испытывала тех бурных порывов всего существа, тех безумных восторгов, тех душевных потрясений, которые считала признаками страсти; однако она как будто уже начинала любить его, потому что, думая о нем, минутами вся замирала, а думала она о нем беспрестанно. В его присутствии у нее тревожно билось сердце; она бледнела и краснела, встречая его взгляд, вздрагивала от звука его голоса.

Она почти не спала в эту ночь.

И с каждым днем волнующее желание любви все сильнее овладевало ею. Она без конца искала ответа у самой себя, гадала по лепесткам ромашки, по облакам, по монетам, подброшенным вверх.

Однажды вечером отец сказал ей:

— Принарядись завтра утром.

— Для чего, папа? — спросила она.

— Это секрет, — ответил он.

И когда наутро она сошла вниз, свежая, нарядная, в светлом платье, она увидела на столе в гостиной груды коробок с конфетами, а на стуле огромный букет.

Во двор въехала повозка. На ней было написано: «Лера, кондитер в Фекане. Свадебные обеды», и Людивина с помощью поваренка принялась вытаскивать из задней дверцы фургона множество больших плоских корзин, от которых вкусно пахло.

Появился виконт де Ламар. Панталоны его были туго натянуты штрипками, лакированные сапожки подчеркивали миниатюрность ноги. Длинный сюртук был схвачен в талии, а между отворотами виднелось кружево манишки. Галстук из тонкого батиста был несколько раз обернут вокруг шеи, и вынуждал виконта высоко держать красивую чернокудрую голову, отмеченную печатью строгого изящества.

У него был совсем иной вид, чем всегда, — парадный костюм сразу же делает неузнаваемыми самые привычные лица. Жанна в изумлении смотрела на него, как будто видела впервые, она находила его в высшей степени аристократичным, вельможей с головы до пят.

Он поклонился с улыбкой:

— Ну, кума, готовы?

— Что такое? Что это значит? — пролепетала она.

— Скоро узнаешь, — сказал барон.

К крыльцу подали карету, и мадам Аделаида в полном параде спустилась из своей спальни, опираясь на руку Розали, которая до того была потрясена щегольской наружностью г-на де Ламар, что папенька заметил:

— Смотрите-ка, виконт, вы, кажется, пришли по вкусу нашей горничной.

Тот вспыхнул до ушей, сделал вид, что не слышит, и, схватив букет, преподнес его Жанне. Она взяла цветы, недоумевая все больше и больше. Все четверо сели в карету; кухарка Людивина принесла баронессе холодного бульона для подкрепления сил и при этом заявила:

— Ну, право же, барыня, чем не свадьба?

Экипаж оставили при въезде в Ипор, и, по мере того как они продвигались по деревенской улице, матросы в Праздничном платье, слежавшемся на сгибах, выходили из домов, кланялись, пожимали руку барону и шли за ними, как в процессии.

Виконт вел под руку Жанну, и они возглавляли шествие.

Дойдя до церкви, все остановились; оттуда выплыл большой серебряный крест, его держал перед собой мальчик-служка, а за ним второй мальчуган, одетый в Красное с белым, нес сосуд со святой водой и кропил.

Далее показались три старика певчих, — один из них Хромой, — затем трубач и, наконец, кюре; на его выпуклом животе была скрещена и топорщилась шитая золотом епитрахиль. Он улыбнулся и кивнул головой в знак Приветствия; потом, полузакрыв глаза, шевеля губами в беззвучной молитве и надвинув на нос треугольную шапочку, последовал

по направлению к морю за своим дегабом, облаченным в стихари.

На пляже толпа окружала новую лодку, увитую гирляндами цветов. Длинные ленты развевались на ее мачте, парусе, снастях, а на корме золотыми буквами было выведено название: Жанна.

Капитан судна, сооруженного на деньги барона, дядя Ластик, вышел навстречу процессии. Все мужчины Дружным движением обнажили головы, а кучка богомолков, в широких черных сборчатых накидках с капюшоном, полукругом опустилась на колени.

Кюре в центре, двое служек по бокам встали у одного конца лодки, а у другого три старика певчих, на вид особенно неопрятные и небритые при белых одеяниях, с важной миной уткнулись в книгу церковных песнопений и зафальшивили во всю глотку среди ясного утра.

Когда они переводили дух, трубач продолжал завывать самостоятельно; серенькие глазки его совсем скрывались за раздутыми щеками. Кожа на шее и даже на лбу как будто оттопырилась, — с такой натугой он дул.

Недвижимое и прозрачное море, казалось, благоговейно притихло ради крестин своего суденышка, катило барашки вышиной с палец и, словно граблями, тихонько шуршало по гальке. А большие белые чайки, развернув крылья, чертили по синему небу круги, удалялись, возвращались и плавным полетом проносились над коленопреклоненной толпой, словно тоже хотели узнать, что там творится.

Наконец, проревев пять минут «аминь», певчие замолчали, и священник хриплым голосом прокудахтал какие-то латинские слова, выговаривая внятно только их звучные окончания.

Затем он обошел вокруг всей лодки, окропил ее святой водой и принялся бубнить молитвы, остановившись у одного из бортов, напротив крестных, которые не двигались, держась за руки.

Молодой человек хранил горделивый вид красавца мужчины, а девушка задыхалась от внезапно нахлынувшего волнения, почти теряла сознание и дрожала так, что у нее стучали зубы. Мечта, не покидавшая ее все последнее время, в каком-то мгновенном видении приняла черты действительности. Кто-то упоминал о свадьбе, и священник совершал обряд, и люди в стихарях возглашали молитвы. Уж не ее ли это венчали?

Рука ли ее дрогнула или томление ее сердца передалось по жилкам сердцу соседа? Понял, угадал ли он, был ли, как и она, одурманен любовью? Или просто знал по опыту, что ни одна женщина не в силах устоять перед ним? Она вдруг почувствовала, что он сжимает ее руку, сперва потихоньку, потом сильнее, еще сильнее, до боли. И без малейшего движения в лице, незаметно для всех других он явственно, да, да, явственно, произнес:

— Жанна, пусть это будет наша помолвка!

Она наклонила голову очень, очень медленно, может быть, в знак согласия. И священник, все еще кропивший лодку, обрызгал святой водой их пальцы.

Обряд кончился. Женщины поднялись с колен. Возвращались уже вразброд. Крест утратил все свое величие; он стремительно мчался, качаясь справа налево или наклонившись вперед, и казалось, того и гляди, шлепнется на землю. Кюре уже не молился, он трусил следом; певчие и трубач шмыгнули в боковую улочку, чтобы поскорее разоблачиться; матросы тоже торопливо шагали кучками. Одна и та же мысль наполняла их головы кухонными запахами, придавала прыти ногам, увлажняла рот слюной, вызывала урчанье в кишках.

В Тополях всех ждал сытный завтрак.

Большой стол был накрыт во дворе под яблонями. Шестьдесят человек моряков и крестьян разместились за ним. Баронесса сидела во главе стола, с двух сторон ее — оба кюре, ипорский и местный. Напротив восседал барон, а у него по бокам — мэр и жена мэра, сухопарая пожилая крестьянка, которая без перерыва кивала головой на все стороны. Длинной физиономией, высоким нормандским чепцом и круглыми, вечно удивленными глазами она очень напоминала курицу с белым хохолком, и ела она мелкими кусочками, как

будто клевала носом в тарелке.

Жанна возле своего кума утопала в блаженстве. Она ничего больше не видела, ничего не понимала и молчала, потому что у нее от счастья мутилось в голове.

Она спросила его:

— Как вас зовут?

— Жюльен. А вы и не знали? — сказал он. Она не ответила, только подумала: «Как часто буду я повторять это имя!»

Когда завтрак окончился, господа предоставили двор матросам, а сами отправились гулять по другую сторону дома. Баронесса совершала свой моцион под руку с бароном и под эскортом обоих священников. Жанна и Жюльен дошли до роши и вступили в лабиринт заглохших тропинок; внезапно он схватил ее руки:

— Скажите, вы согласны быть моей женой?

Она снова опустила голову; но так как он настаивал: «Ответьте мне, умоляю», — она медленно подняла к нему глаза, и он прочел ответ в ее взгляде.

IV

Однажды утром барон вошел в комнату Жанны, когда она еще не вставала, и сел в ногах постели.

— Виконт де Ламар просит твоей руки.

Ей захотелось спрятать голову под одеяло

— Мы обещали дать ответ позднее, — продолжал отец.

Она задыхалась, волнение душило ее. Барон выждал минуту и добавил с улыбкой:

— Мы не хотели решать, не поговорив с тобой. Мы с мамой не возражаем против этого брака, однако принуждать тебя не собираемся. Ты много богаче его, но, когда речь идет о счастье всей жизни, можно ли думать о деньгах? У него не осталось никого из родных; следовательно, если ты станешь его женой, он войдет в нашу семью как сын, а с другим бы ты, наша дочка, ушла к чужим людям. Нам он нравится. А тебе как?

Она пролепетала, краснея до корней волос:

— Я согласна, папа.

Барон, не переставая улыбаться, пристально посмотрел ей в глаза и сказал:

— Я об этом догадывался, мадемуазель.

До вечера она была как пьяная, не знала, что делает, брала в рассеянности одни предметы вместо других, и ноги у нее подкашивались от усталости, хотя она совсем не ходила в этот день.

Около шести часов, когда они с маменькой сидели под платаном, появился виконт.

У Жанны бешено забилося сердце. Молодой человек подходил к ним, не обнаруживая заметного волнения. Приблизившись, он взял руку баронессы и поцеловал ее пальцы, потом поднял дрожащую ручку девушки и прильнул к ней долгим, нежным, благодарным поцелуем.

И для обрученных началась счастливая пора. Они разговаривали наедине в укромном углу гостиной или сидели на откосе в конце роши над пустынной ландой. Иногда они гуляли по маменькиной аллее, и он говорил о будущем, а она слушала, опустив глаза на пыльную борозду, протоптанную баронессой.

Раз дело было решено, не стоило медлить с развязкой. Венчание назначили на пятнадцатое августа, через полтора месяца, а потом молодые сразу же должны были отправиться в свадебное путешествие. Когда Жанну спросили, куда ей хочется ехать, она выбрала Корсику, где больше уединения, чем в городах Италии.

Они ждали дня свадьбы без особого нетерпения, а пока нежились, купались в атмосфере пленительной влюбленности, упивались неповторимой прелестью невинных ласк, пожатья пальцев, долгих страстных взглядов, в которых как будто сливаются души, и смутно томились робким желанием настоящих любовных объятий.

Решено было не приглашать на свадьбу никого, кроме тети Лизон, маменькиной сестры, жившей пансионеркой при одном из монастырей в Версале.

Баронесса хотела, чтобы сестра жила у нее после смерти их отца; но старая дева была одержима мыслью, что она никому не нужна, всем мешает и всем в тягость, а потому предпочла поселиться в одном из тех монастырских приютов, где сдают квартиры одиноким, обиженным жизнью людям.

Время от времени она приезжала погостить месяцдругой у родных.

Это была маленькая, шупленькая женщина; она большей частью молчала, держалась в тени, появлялась только к столу, сейчас же снова уходила к себе в комнату и обычно сидела там взаперти.

У нее было доброе старушечье лицо, хотя ей шел всего сорок третий год, взгляд кроткий и грустный; домашние с ней никогда не считались; в детстве она не была ни миловидной, ни резвой, а потому никто ее не ласкал, и она тихо и смиренно сидела в уголке. Уже с тех пор на ней был поставлен крест. И в годы юности никто ею не заинтересовался.

Она казалась чем-то вроде тени или привычной вещи, живой мебели, которую видишь каждый день, но почти не замечаешь.

Сестра еще в родительском доме приучилась считать ее существом убогим и совершенно безличным. С ней обращались по-родственному бесцеремонно, с оттенком Пренебрежительной жалости. Звали ее Лиза, но ее явно смущало это кокетливое юное имя. Когда в семье увидели, что она замуж не выйдет, из Лизы сделали Лизон. С рождения Жанны она стала «тетей Лизон», бедной родственницей, чистенькой, болезненно застенчивой даже с сестрой и зятем; те, правда, любили ее, но любовью поверхностной, в которой сочетались ласковое равнодушие, безотчетное сострадание и природное доброжелательство.

Иногда, припоминая что-нибудь из времен своей юности, баронесса говорила, чтобы точнее определить дату события: «Это было вскоре после сумасбродной выходки Лизон».

Подробнее об этой «сумасбродной выходке» никогда не говорилось, и она так и осталась окутана тайной.

Однажды вечером Лиза, которой было тогда двадцать лет, неизвестно почему бросилась в пруд. Ни в жизни ее, ни в поведении ничто не предвещало такого безрассудства. Ее вытащили полумертвой. И родители, вместо того чтобы доискаться скрытой причины этого поступка, с возмущением воздевали руки и толковали о «сумасбродной выходке», как толковали о несчастье с лошадьёу Коко, которая незадолго до того споткнулась на рытвине и сломала ногу, так что ее пришлось пристрелить.

С тех пор Лизу, вскоре ставшую Лизон, считали слабоумной. Понемногу все окружающие прониклись к ней тем же ласковым презрением, какое она внушала родным. Даже маленькая Жанна, с присущим детям чутьем, не обращала на нее внимания, никогда не прибегала поцеловать ее в постели, никогда вообще не заглядывала к ней в комнату. Казалось, одна только Розали знала, где помещается эта комната, потому что прибирала ее.

Когда тетя Лизон выходила в столовую к завтраку, «малютка» по привычке подставляла ей лоб для поцелуя. Только и всего.

Если кому-нибудь она была нужна, за ней посылали прислугу; а когда она не появлялась, никто не интересовался ею, не вспоминал о ней, никому бы и в голову не пришло обеспокоиться, спросить:

«Что это значит, почему Лизон не видно с утра?»

Она не занимала места в мире, она была из тех, кого не знают, в чью внутреннюю сущность не вникают даже близкие, чья смерть не оставляет в доме зияющей пустоты, из тех, кто не способен войти в жизнь, в привычки, в сердце окружающих.

Слова «тетя Лизон» не вызывали ни у кого ни малейшего душевного движения. Они звучали, как «кофейник» или «сахарница».

Ходила она всегда торопливо, мелкими, неслышными шажками; никогда не шумела, не стучала, будто сообщая беззвучность даже предметам. Руки у нее были словно из ваты, так

бережно и легко касалась она всего, за что бралась.

Она приехала к середине июля, в полном смятении от предстоящей свадьбы. Она навезла кучу подарков, но от нее и это приняли довольно равнодушно. И со второго дня перестали замечать ее присутствие.

Зато она вся кипела необычайным волнением и не сводила глаз с жениха и невесты. С непривычной для нее живостью, с лихорадочным рвением занималась она приданым; как простая швея, работала у себя в комнате, куда никто не навещался.

Она то и дело приносила баронессе платки, которые сама подрубила, или салфетки, на которых вышила вензеля, и при этом спрашивала:

— Хорошо у меня получилось, Аделаида?

А маменька, небрежно взглянув на ее работу, отвечала:

— Да не изводись ты так, Лизон.

Однажды в конце месяца, после душного знойного дня, взошла луна и настала особенно ясная, свежая ночь, в которой все волнует, все умиляет, окрыляет, будит затаенные поэтические порывы души. Теплое дыхание полей вливалось в тихую гостиную.

Абажур отбрасывал световой круг на стол, за которым баронесса с мужем играли в карты; тетя Лизон сидела между ними и вязала, а молодые люди, облокотясь о подоконник, смотрели в открытое окно на залитый лунным светом сад.

Липа и платан разметали свои тени по лужайке, а дальше она тянулась широким белесым и блестящим пятном до черной полосы роши.

Жанну непреодолимо влекло нежное очарование ночи, призрачное свечение кустов и деревьев, и она обернулась к родителям:

— Папенька, мы пойдем погуляем по лужайке перед домом.

Барон ответил, не отрываясь от игры:

— Ступайте, детки, — и продолжал партию.

Они вышли и принялись медленно бродить по светлому дерну, доходя до самого края леска.

Становилось поздно, а они и не собирались возвращаться. Баронесса устала и хотела подняться к себе.

— Надо позвать наших голубков, — сказала она.

Барон окинул взглядом весь большой, облитый сиянием сад, где медленно блуждали две тени.

— Не тронь их, — возразил он, — там такая благодать! Лизон их подождет. Хорошо, Лизон?

Старая дева подняла свои встревоженные глаза и ответила обычным, робким голосом:

— Конечно, подожду.

Папенька помог подняться баронессе и, сам усталый от жаркого дня, сказал:

— Я тоже пойду лягу.

И удалился вместе с женой.

Тогда тетя Лизон, в свою очередь, встала, бросила на кресло начатую работу, клубок шерсти и крючок и, опершись о подоконник, погрузилась в созерцание чудесной ночи.

Жених и невеста все ходили и ходили по лугу, от роши до крыльца, от крыльца до роши. Они сжимали друг другу руки и молчали. Они как бы отрешились от себя, слились с той зримой поэзией, которой дышала земля.

Вдруг в рамке окна Жанна увидела фигуру старой девы, которая вырисовывалась в свете лампы.

— Посмотрите, — сказала она, — тетя Лизон следит за нами.

Виконт поднял голову и равнодушным голосом, каким говорит, не думая, ответил:

— В самом деле, тетя Лизон следит за нами.

И они продолжали мечтать, бродить, любить.

Но трава покрылась росой, Жанна вздрогнула от легкого холодка.

— Пора домой, — заметила она.

И они возвратились.

Когда они вошли в гостиную, тетя Лизон уже снова вязала; она низко наклонилась над работой, и ее худые пальцы немного дрожали, словно от утомления.

Жанна подошла к ней:

— Пора спать, тетя.

Старая дева вскинула глаза; они покраснели, как будто от слез. Влюбленные этого не заметили; зато молодой человек увидел вдруг, что легкие башмачки девушки совсем намокли. Он забеспокоился и спросил нежным голосом:

— Ваши милые ножки не озябли?

Но тут пальцы тети Лизон задрожали так сильно, что вязанье выпало из них; клубок шерсти покатился по паркету; порывисто закрыв лицо руками, она громко, судорожно зарыдала.

Молодые люди в изумлении застыли на месте. Потом Жанна стремительно бросилась на колени перед теткой и, отводя ее руки, твердила в растерянности:

— Ну что ты, что ты, тетя Лизон?

И бедная женщина пролепетала в ответ хриплым от слез голосом, вся сжавшись от душевной боли:

— Это оттого, что он спросил... «Ваши милые... ножки не озябли?...» Мне-то ведь, мне никогда так не говорили... никогда, никогда...

Жанна была удивлена, растрогана, и тем не менее ей хотелось смеяться при мысли о влюбленном, который стал бы рассыпаться в нежностях перед тетей Лизон; а виконт отвернулся, чтобы скрыть улыбку.

Тетя Лизон вдруг вскочила, оставила клубок на полу, а вязанье на кресле, без свечи взбежала по темной лестнице и ощупью отыскала свою дверь.

Молодые люди, оставшись одни, переглянулись, им было и смешно и грустно.

— Бедная тетя! — прошептала Жанна.

— У нее сегодня, видно, что-то неладно с головой, — заметил Жюльен.

Они держались за руки и никак не могли расстаться, а потом робко, очень робко поцеловались в первый раз у пустого кресла тети Лизон.

На другой день они уже и не вспоминали о слезах старой девы.

Последние две недели перед свадьбой Жанна как-то затихла и успокоилась, словно утомилась от сладостных волнений.

А в утро торжественного дня у нее совсем не было времени для раздумья. Она ощущала только совершенную пустоту во всем теле, как будто у нее растворились кости и мышцы, и кровь; а когда она бралась за какиенибудь предметы, то замечала, что пальцы ее сильно дрожат.

Она овладела собой только в церкви, у амвона, во время службы.

Замужем! Теперь она замужем! Все происшедшее с утра, чередование событий и переживаний казалось ей сном, настоящим сном. Бывают минуты, когда все вокруг меняется для нас; любые поступки приобретают новый смысл; и даже часы дня как будто смещаются.

Она была очень растерянна и еще больше удивлена. Лишь вчера все было по-прежнему в ее существовании, только неотступная мечта ее жизни стала близкой, почти осязаемой. Вчера она заснула девушкой, теперь она женщина.

Значит, она перешагнула тот рубеж, который скрывал будущее со всеми его радостями, со всем счастьем, о каком только мечталось. Перед ней словно распахнулись двери: стоит сделать шаг, и сбудутся ее чаяния.

Венчанье кончилось. Все перешли в ризницу, где было почти пусто, потому что на свадьбу никого не приглашали; затем направились к выходу.

Когда новобрачные показались на паперти, раздался такой страшный грохот, что молодая отпрянула назад, а баронесса громко вскрикнула, — это крестьяне дали залп из ружей; и до самых Тополей выстрелы не прекращались.

Дома был подан завтрак для членов семьи, для приходского кюре и кюре из Ипора, для

мэра и свидетелей, выбранных из числа почтенных местных фермеров.

Потом в ожидании обеда все вышли в сад. Барон, баронесса, тетя Лизон, мэр и аббат Пико гуляли по маменькиной аллее, а чужой священник большими шагами ходил по другой аллее и читал молитвенник.

Со двора доносилось шумное веселье крестьян, которые пили под яблонями сидр. Вся округа, празднично разодетая, собралась там. Парни и девушки заигрывали друг с другом.

Жанна и Жюльен прошли через рощу, взобрались на откос и в молчании смотрели на море. Погода стояла свежая, хотя была середина августа; дул северный ветер, и огромный шар солнца неумолимо сверкал на яркосинем небе.

Ища укрытия, молодые люди пересекли ланду в сторону извилистой, поросшей лесом долины, идущей вниз, к Ипору. Едва они очутились под деревьями, как перестали ощущать малейшее дуновение ветра; они свернули с дороги на узкую тропинку, убегающую в лесную чашу. Идти рядом было почти невозможно, и тут Жанна почувствовала, как вокруг ее стана потихоньку обвивается его рука.

Она молчала, задыхаясь, сердце у нее колотилось, дух захватывало. Нависшие ветки касались их волос; то и дело приходилось нагибаться, чтобы пройти; она сорвала листок, две божьи коровки, точно две раковинки, приютились на обратной его стороне.

Успокоившись немного, она заметила наивно:

— Смотрите — семейство.

Жюльен коснулся губами ее уха:

— Сегодня вечером вы будете моей женой.

Хотя она многое узнала, живя среди природы, но в любви до сих пор видела только поэзию и потому изумилась. Женой? Разве она не стала уже его женой?

Но он принялся осыпать частыми, легкими поцелуями ее висок и шею там, где вились первые волоски. Вздрагивая каждый раз от этих мужских, — непривычных ей поцелуев, она невольно отклоняла голову в другую сторону, старалась избежать его ласк и все же наслаждалась ими.

Неожиданно они очутились на опушке леса. Она остановилась в смущении оттого, что они так далеко забрели. Что о них подумают?

— Вернемся! — сказала она.

Он отнял руку от ее талии, оба они повернулись и оказались один против другого, лицом к лицу, так близко, что каждый ощущал дыхание другого; и взгляды их встретились — те пристальные, испытующие, острые взгляды, в которых словно сливаются две души. Они искали в глазах друг друга ту тайну, то непроницаемо сокровенное, что спрятано где-то глубоко; они пронизывали один другого немым, настойчивым вопросом. Чем они будут друг для друга? Как пойдет их совместная жизнь? Какую долю радостей, восторгов, разочарований принесут они друг другу в пожизненном, нерасторжимом сообществе, которое зовется браком? И каждому из них показалось, что он видит другого впервые.

Внезапно Жюльен вскинул руки на плечи Жанны и впился ей в губы страстным поцелуем, каким еще никогда не целовали ее. Этот поцелуй вонзился в нее, проник ей в мозг и кровь; и такое удивительное, неизведанное чувство потрясло ее, что она отчаянно, обеими руками оттолкнула Жюльена и едва не упала навзничь.

— Пойдем отсюда, пойдем, — лепетала она.

Он не ответил, только взял ее руки и не отпускал их.

До самого дома они больше не сказали ни слова,

За стол сели под вечер.

Обед был простой и кончился скоро, вопреки нормандским обычаям. Какое-то смущение сковывало присутствующих. Только оба священника, мэр да четыре приглашенных фермера поддерживали грубоватое веселье, обязательное на свадьбе.

Смех совсем уже замирал, но остроты мэра снова оживляли его. Было часов около девяти; подали кофе. В первом дворе, под яблонями, начинался деревенский бал. Из раскрытых окон видно было все гулянье. Подвешенные к ветвям фонарики бросали ярко-

зеленые отсветы на листья. Парни и девки собрались в круг и неистово прыгали, горланя плясовую, которой слабо вторили две скрипки и кларнет, взгромоздившиеся на большой кухонный стол, как на эстраду. Временами нескладное крестьянское пенье совсем заглушало напев инструментов, и тоненькая мелодия, разорванная ревом голосов, казалось, обрывками падала с неба, рассыпалась отдельными нотками

Крестьян поили из двух больших бочек, окруженных горящими факелами. Две служанки непрерывно полоскали стаканы и кружки в лохани и сейчас же, не вытирая, подставляли их под кран, откуда текла красная струйка вина или золотистая струйка прозрачного сидра. И разгоряченные танцоры, степенные старики, вспотевшие девушки толкались, протягивали руки, чтобы захватить кружку и, запрокинув голову, одним махом влить себе в горло свой излюбленный напиток.

Рядом на столе разложены были хлеб, масло, сыр и колбасы, которыми каждый угощался время от времени. Это здоровое, разгульное веселье под навесом из освещенных листьев соблазняло унылых господских гостей тоже пуститься в пляс, напиток из большой пузатой бочки и закусить ломтем хлеба с маслом и сырой луковицей.

Мэр, отбивая такт ножом, заметил:

— Здорово, черт подери! Ну, в точности свадьба Ганаша.

Среди гостей пробежал приглушенный смех. Но аббат Пико, естественный противник гражданской власти, возразил:

— Уместнее было бы сказать: брак в Кане.

Однако мэр не внял наставлению:

— Нет, господин аббат, я знаю, что говорю. Сказал «свадьба Ганаша» — и точка.

Все поднялись и перешли в гостиную. Потом на минутку приняли участие в простонародных забавах. А потом гости удалились. Барон и баронесса о чем-то препирались шепотом. Мадам Аделаида, пыхтя больше обычного, по-видимому, не соглашалась сделать то, чего требовал муж; наконец она сказала почти вслух:

— Нет, друг мой, не могу, не знаю даже, как к этому и приступить.

Тогда папенька резко повернулся и подошел к Жанне:

— Хочешь погулять немножко, детка?

— Хорошо, папа, — взволнованно ответила она.

Они вышли.

Едва они переступили порог и направились в сторону моря, как их прохватило резким ветром, холодным летним ветром, который уже дышит осенью.

По небу мчались тучи, заволакивая и снова открывая звезды.

Барон прижимал к себе локоть дочери и нежно гладил ее руку. Так ходили они несколько минут. Казалось, он колеблется, смущается. Наконец он решился.

— Голубка моя, я должен взять на себя обязанность, которую больше подобало бы выполнить маме, но она отказывается, и мне поневоле приходится заменить ее. Я не знаю, что тебе известно о житейских делах. Есть тайны, которые старательно скрывают от детей, в особенности от девушек, чтобы они сохранили чистоту помыслов, чистоту безупречную, вплоть до того часа, когда мы отдадим их с рук на руки человеку, предназначенному заботиться об их счастье. Ему-то и надлежит поднять завесу над сладостным таинством жизни. Но если девушки пребывают в полном неведении, их нередко оскорбляет грубая действительность, таящаяся за грезами. Страдая не только душевно, но и телесно, они отказывают супругу в том, что законом человеческим и законом природы признается за ним как безоговорочное право. Больше я ничего не могу сказать тебе, родная; одно только помни, помни твердо: вся ты всецело принадлежишь мужу.

Что она знала на самом деле? Что подозревала? Она стала дрожать, гнетущая, мучительная тоска навалилась на нее, точно страшное предчувствие.

Они возвратились и застыли на пороге от неожиданности. Мадам Аделаида рыдала на груди Жюльена. Всхлипывания вырывались у нее с таким шумом, как воздух из кузнечных мехов, а слезы лились, казалось, сразу из глаз, из носа, изо рта; молодой человек растерянно,

неловко поддерживал толстуху, которая лежала в его объятиях и заклинала его беречь ее дорогую, любимую, ненаглядную девочку.

Барон бросился на помощь.

— Пожалуйста, прошу вас, только без чувствительных сцен.

Он подвел жену к креслу, и она уселась, вытирая мокрое от слез лицо.

Затем он повернулся к Жанне:

— Ну, детка, поцелуй скорее маму и ступай спать.

Еле сдерживая слезы, она торопливо поцеловала родителей и убежала.

Тетя Лизон ушла к себе еще раньше. Барон и его жена остались наедине с Жюльеном. Все трое были так смущены, что не могли выдавить из себя ни слова; мужчины, все еще во фраках, стояли, опустив глаза, мадам Аделаида полулежала в кресле, глотая последние слезы. Наконец неловкое молчание стало нестерпимым, и барон заговорил о предстоящем в ближайшие дни путешествии новобрачных.

Между тем Жанну в ее спальне раздевала Розали и плакала при этом в три ручья. Руки ее не слушались, она не находила ни завязок, ни застежек и явно была взволнована еще больше своей госпожи. Но Жанна не замечала слез горничной; ей казалось, будто она вступила в другой мир, попала на другую планету, разлучилась со всем, что было ей знакомо и дорого. Все в ее жизни и в сознании словно перевернулось, у нее даже возникла странная мысль: а любит ли она своего мужа? Он вдруг представился ей чужим, почти незнакомым человеком. Три месяца назад она не знала о его существовании, а теперь стала его женой. Почему? Зачем было так стремительно бросаться в замужество, точно в пропасть, разверстую под ногами?

Когда ночной туалет ее был закончен, она скользнула под одеяло; прохладные простыни вызвали легкий озноб, и это еще усиливало ощущение холода, одиночества, тоски, томившее ее последние два часа.

Розали скрылась, все еще плача, а Жанна стала ждать. С тревогой, с щемящей болью в сердце ждала она того, о чем догадывалась, на что туманно намекал отец, — таинственного посвящения в великую загадку любви.

Она не слышала шагов по лестнице, как вдруг в дверь тихонько постучали три раза. Она затрепетала, задрожала всем телом и не ответила. Стук раздался снова, а немного погодя щелкнул замок. Она спрятала голову под одеяло, как будто к ней забрался вор. По паркету еле слышно проскрипели башмаки, и вдруг кто-то коснулся ее постели.

Она судорожно подскочила и слабо вскрикнула; открыв голову, она увидела, что Жюльен стоит перед ней и смотрит на нее, улыбаясь.

— Ах, как вы меня испугали! — сказала она.

— А вы меня совсем не ждали? — спросил он.

Она не ответила. Он был все еще в парадном костюме и хранил достойный вид красавца мужчины; и ей стало вдруг ужасно стыдно лежать в постели перед таким корректным господином.

Они не знали, что говорить, что делать, и не решались даже смотреть друг на друга в этот важный, ответственный час, от которого зависит супружеское счастье целой жизни.

Он, должно быть, смутно сознавал, сколько опасности таится в этом поединке, сколько гибкости, самообладания, сколько умелой нежности надо проявить, чтобы ничем не оскорбить чуткую стыдливость, тончайшую чувствительность девственной, вскормленной мечтами души.

Он бережно взял руку Жанны, поцеловал ее и, преклонив колена перед кроватью, точно перед алтарем, прошептал еле слышно, как будто вздохнул:

— Вы будете любить меня?

Она как-то сразу успокоилась, приподняла с подушки окутанную облаком кружев голову и улыбнулась ему:

— Я уж и теперь люблю вас, мой друг.

Он вложил себе в рот тонкие пальчики жены и приглушенным этой живой помехой

голосом спросил:

— И согласны доказать, что любите меня?

Она снова испугалась и ответила, не сознавая толком, что говорит, помня только наставления отца:

— Я ваша, мой друг.

Он осыпал ее руку влажными поцелуями и, медленно поднимаясь, приближался к ее лицу, а она снова пыталась укрыться.

Но вдруг он протянул руку и обхватил жену поверх одеяла, вторую руку просунул под подушку и, приподняв ее вместе с головой жены, шепотом, тихим шепотом спросил:

— Значит, вы дадите мне местечко возле себя?

Ее охватил инстинктивный страх.

— Потом, пожалуйста, потом, — пролепетала она.

Он был явно озадачен и несколько задет и попросил снова, но уже более настойчивым тоном:

— Почему потом, когда мы все равно кончим этим?

Ее обидели эти слова, но все же она повторила в покорном смирении:

— Я ваша, мой друг.

Он тотчас же исчез в туалетной комнате; Жанна явственно слышала каждое его движение, шорох снимаемой одежды, позвякивание денег в кармане, стук сброшенных башмаков.

И вдруг он появился в кальсонах и носках, перебежал комнату и положил на камин часы. Потом шмыгнул обратно в соседнюю каморку и повозился еще немного; услышав, что он входит, Жанна торопливо повернулась на другой бок и закрыла глаза.

Она привскочила и едва не спрыгнула на пол, когда вдоль ее ноги скользнула чужая, холодная и волосатая нога; закрыв лицо руками, вне себя от испуга и смятения, сдерживаясь, чтобы не кричать, она откинулась к самому краю постели.

А он обхватил ее руками, хотя она лежала к нему спиной, и покрывал хищными поцелуями ее шею, кружевной волан чепчика и вышитый воротник сорочки.

Она не шевелилась и вся застыла от нестерпимого ужаса, чувствуя, как властная рука ищет ее грудь, спрятанную между локтями. Она задыхалась, потрясенная его грубым прикосновением, и хотела только одного: убежать на другой конец дома, запереться где-нибудь подальше от этого человека.

Теперь он не шевелился. Она ощущала на спине его тепло. Страх ее снова улегся, и ей вдруг захотелось повернуться и поцеловать его.

Под конец он, видимо, потерял терпение и спросил огорченным тоном:

— Почему же вы не хотите быть моей женушкой?

Она пролепетала, не отрывая рук от лица:

— Разве я не стала вашей женой?

— Полноте, дорогая, вы смеетесь надо мной, — возразил он с оттенком досады.

Ей стало грустно, что он недоволен ею, и она повернулась попросить прощения.

Он набросился на нее жадно, будто изголодался по ней, и стал осыпать поцелуями — быстрыми, жгучими, как укусы, поцелуями все лицо ее и шею, одурманивая ее ласками. Она разжала руки и больше не сопротивлялась его натиску, не понимала, что делает сама, что делает он, в полном смятении не соображала уже ничего. Но вдруг острая боль пронизала ее, и она застонала, забилась в его объятиях, в то время как он грубо обладал ею.

Что произошло дальше? Она ничего не помнила, она совсем обезумела; она только чувствовала на своих губах его частые благодарные поцелуи.

Потом он как будто говорил с ней, и она ему отвечала. Потом он сделал новую попытку, но она с ужасом оттолкнула его; отбиваясь, она ощутила на его груди ту же густую щетину, что и на ногах, и отшатнулась от неожиданности.

Наконец ему прискучили безуспешные домогательства, он затих, лежа на спине.

А она стала думать; в глубочайшем отчаянии от того, что наслаждение оказалось

обманом, совсем не похожим на мечту, что заветные надежды рухнули, все блаженство разлетелось в прах, она твердила себе: «Так вот что, вот что он называет быть его женой?»

Она долго лежала так, в тоске, скользя взглядом по шпалерам, по старинной любовной легенде, украшавшей стены ее комнаты.

Но так как Жюльен молчал и не шевелился, она осторожно перевела взгляд на него, и что же она увидела: он спал! Он спал, полуоткрыв рот, со спокойным выражением лица! Он спал!

Она не верила своим глазам, она была возмущена и оскорблена этим сном еще больше, чем его животной грубостью. Значит, она для него первая встречная, раз он может спать в такую ночь? Значит, в том, что произошло между ними, для него нет ничего особенного?

Она предпочла бы, чтобы он избил ее, изнасиловал снова, истерзал ненавистными ласками до потери сознания.

Она лежала неподвижно, опершись на локоть, и, наклонясь над ним, прислушивалась к его дыханию, иногда переходившему в храп.

Занимался день, сперва тусклый, потом все ярче, все розовее, все ослепительнее. Жюльен открыл глаза, зевнул, потянулся, взглянул на жену и, улыбаясь, спросил:

— Ты хорошо выспалась, душенька?

Она услышала, что он стал обращаться к ней на «ты», и ответила растерянно:

— Да, конечно. А вы?

— Ну, я-то выспался превосходно, — ответил он.

И, повернувшись к ней, поцеловал ее, а потом принялся спокойно беседовать. Он излагал ей свои планы жизни, основанной на «экономии», — это слово повторялось не раз и удивляло Жанну. Она слушала, не вполне улавливая смысл его речей, смотрела на него, и тысячи мимолетных мыслей проносились в ее голове, едва задевая сознание.

Пробило восемь часов.

— Ну, пора вставать, — сказал он, — нам неловко долго оставаться в постели.

И он поднялся первым, оделся сам и заботливо помог жене совершить туалет, ни за что не разрешив позвать Розали.

При выходе из спальни он остановил жену:

— Знаешь, между собой мы теперь можем быть на «ты», но при родителях лучше еще повременить. После свадебного путешествия это покажется вполне естественным.

Она спустилась к позднему завтраку. И день потянулся, как обычно, словно ничего нового и не произошло. Только в доме прибавился лишний человек.

V

Через четыре дня прибыла дорожная карета, чтобы везти их в Марсель.

После ужаса первой ночи Жанна успела привыкнуть к близости Жюльена, к его поцелуям, нежным ласкам, но отвращение ее к супружеским объятиям не убывало.

Все же он нравился ей, она его любила и снова была счастлива и весела.

Прощание было недолгим и отнюдь не печальным. Одна только баронесса казалась расстроенной; перед самым отъездом она вложила в руку дочери большой и тяжелый, точно камень, кошелек.

— Это на мелкие расходы тебе лично, как молодой даме, — сказала она.

Жанна опустила кошелек в карман, и лошади тронули.

Перед вечером Жюльен спросил:

— Сколько тебе мама дала на расходы?

Она забыла и думать о кошельке, а теперь вывернула его себе на колени. Золото так и посыпалось оттуда: две тысячи франков. Она захлопала в ладоши: «Ах, как я буду транжирить!» — и собрала деньги.

После недели пути по страшной жаре они приехали в Марсель. А наутро «Король Людовик», небольшой пакетбот, совершавший рейс до Неаполя с заходом в Аяччо, уже вез

их на Корсику.

Корсика! Маки! Бандиты! Горы! Родина Наполеона! Жанне казалось, что из мира действительности она наяву вступает в мир грез.

Стоя рядом на палубе, они смотрели, как проплывают мимо утесы Прованса. Неподвижное море глубокой лазури словно застыло, словно затвердело в жгучем солнечном свете, раскинувшись под безбрежным небом почти неправдоподобной синевы.

— Помнишь нашу прогулку в лодке дяди Ластика? — спросила она.

Вместо ответа он украдкой поцеловал ей ушко.

Колеса парохода били по воде, тревожа ее покой. а за кормой судна след его уходил вдаль ровной бурливой полосой, широкой беловатой струей, где всколыхнувшиеся волны пенились, как шампанское.

Внезапно в нескольких саженях от носа корабля из моря выпрыгнул громадный дельфин и тотчас нырнул обратно головой вперед. Жанна испугалась, вскрикнула от неожиданности и бросилась на грудь Жюльену. А потом сама же засмеялась своему страху и принялась с интересом следить, не появится ли животное снова. Спустя несколько секунд оно опять взвилось, как гигантская заводная игрушка. Потом нырнуло, высунулось опять; потом их оказалось двое, трое, потом шесть; они словно резвились вокруг массивного, грузного судна, эскортировали своего мощного собрата, деревянного дельфина с железными плавниками. Они заплывали то с левого бока корабля, то с правого и, иногда вместе, иногда — друг за дружкой, словно вперегонки, подсакивали на воздух и, описав большую дугу, снова ныряли в воду.

Жанна хлопала в ладоши, дрожала от восторга при каждом появлении ловких пловцов. Сердце у нее прыгало, как они, в безудержном детском веселье.

И вдруг они скрылись. Еще раз показались где-то далеко в открытом море и больше не появлялись; Жанне на миг взгрустнулось оттого, что они исчезли.

Надвигался вечер — мирный, тихий вечер, лучезарно ясный, исполненный блаженного покоя. Ни малейшего волнения в воздухе и на воде; великое затишье моря и неба убаюкало души, и в них тоже замерло всякое волнение.

Огромный шар солнца потихоньку опускался к горизонту, к Африке, к незримой Африке, и жар ее раскаленной почвы уже, казалось, был ощутим; однако, когда солнце скрылось совсем, даже не ветерок, а легкое свежее дуновение лаской овеяло лица.

Им не хотелось уходить в каюту, где стоял противный пароходный запах, и они улеглись бок о бок на палубе, завернувшись в плащи. Жюльен сразу же уснул, но Жанна лежала с открытыми глазами, взбудораженная новизной дорожных впечатлений. Однообразный шум колес укачивал ее; над собой она видела несметные звезды, такие светлые, сверкающие резким, словно влажным, блеском на ясном южном небе.

К утру, однако же, она задремала. Ее разбудил шум, звук голосов. Матросы пели, производя уборку парохода. Жанна растормошила мужа, который спал как убитый, и оба они встали.

Она с упоением впивала терпкий солоноватый утренний туман, пронизывавший ее насквозь. Повсюду кругом море. Но нет, впереди на воде лежало что-то серое, неясное в свете брезжущего утра, какое-то нагромождение странных, колючих, изрезанных облаков.

Потом оно стало явственнее; очертания обозначились резче на посветлевшем небе; возникла длинная гряда прихотливо угловатых гор — Корсика, окутанная легкой дымкой.

Солнце поднялось позади нее и обрисовало черными тенями извилины гребней; немного погодя все вершины заалелись, но самый остров еще тонул в тумане.

На мостике появился капитан, приземистый старик, обожженный, обветренный, высушенный, выдубленный, скрюченный суровыми солеными ветрами, и сказал Жанне голосом, охрипшим от тридцати годов командования, надсаженным окриками во время штормов:

— Чувствуете, как от нее, от мерзавки, пахнет?

Жанна в самом деле ощущала сильный, незнакомый запах трав, диких растений.

Капитан продолжал:

— Это Корсика так благоухает, сударыня; у нее, как у всякой красавицы, свой особый аромат. Я и через двадцать лет разлуки за пять морских миль распознаю его. Я ведь оттуда. И ом, говорят, на Святой Елене, все поминает про аромат отчизны. Он мне родня.

И капитан, сняв шляпу, приветствовал Корсику, приветствовал через океан плененного великого императора, который был ему родней.

Жанна едва не заплакала от умиления.

Затем моряк протянул руку к горизонту.

— Кровавые острова, — пояснил он.

Жюльен стоял около жены, обняв ее за талию, и оба они искали взглядом указанную точку.

Наконец они увидели несколько пирамидальных утесов, а вскоре судно обогнуло эти утесы, входя в обширный и тихий залив, окруженный толпой высоких гор, доросших понизу чем-то вроде мха.

Капитан указал на эту растительность:

— Маки!

По мере продвижения парохода круг гор будто смыкался за ним, и он медленно плыл среди озера такой прозрачной синевы, что порой видно было дно.

И вдруг показался город, весь белый, в глубине бухты, у края волн, у подножия гор.

Несколько небольших итальянских судов стояли на якоре в порту. Четыре-пять лодок шныряли вокруг «Короля Людовика» в надежде на пассажиров.

Жюльен, собиравший чемоданы, спросил шепотом у жены:

— Достаточно дать носильщику двадцать су?

Всю неделю он ежеминутно задавал ей подобные вопросы, всякий раз причинявшие ей страдание. Она ответила с легкой досадой:

— Лучше дать лишнее, чем недодать.

Он постоянно спорил с хозяевами, с лакеями в гостиницах, с кучерами, с продавцами любых товаров, и, когда после долгих препирательств ему удавалось выторговать какую-нибудь мелочь, он говорил жене, потирая руки:

— Не люблю, чтобы меня надували.

Она дрожала, когда подавали счет, заранее предвидя, что он будет придирается к каждой цифре, стыдилась этого торга, краснела до корней волос от презрительных взглядов, которыми лакеи провожали ее мужа, зажав в руке его скудные чаевые.

Он поспорил и с лодочником, который перевез их на берег.

Первое дерево, которое она увидела, была пальма.

Они остановились в большой, но малолюдной гостинице на одном из углов обширной площади и заказали завтрак.

Когда они кончили десерт и Жанна поднялась, чтобы пойти побродить по городу, Жюльен обнял ее и нежно шепнул ей на ухо:

— Не прилечь ли нам, кошечка?

Она изумилась:

— Прилечь? Да я ничуть не устала.

Он прижал ее к себе:

— Я стосковался по тебе за два дня. Понимаешь?

Она вспыхнула от стыда и пролепетала:

— Что ты! Сейчас? Что скажут здесь? Что подумают? Как ты потребуешь номер посреди дня? Жюльен, умоляю тебя, не надо!

Но он прервал ее:

— Мне наплевать, что скажут и подумают лакеи в гостинице. Сейчас увидишь, как это мало меня смущает.

И он позвонил.

Она замолчала, опустив глаза; она душой и телом восставала против неутолимых

желаний супруга, подчинялась им покорно, но с отвращением, чувствуя себя униженной, ибо видела в этом что-то скотское» позорное, — словом, пакость.

Чувственность в ней еще не проснулась, а муж вел себя так, будто она разделяла его пыл.

Когда лакей явился, Жюльен попросил проводить их в отведенный им номер. Лакей, истый корсиканец» обросший бородой до самых глаз, ничего не понимал и уверял, что комната будет приготовлена к ночи.

Жюльен с раздражением растолковал ему:

— А нам нужно теперь. Мы устали с дороги и хотим отдохнуть.

Тут лакей ухмыльнулся в бороду, а Жанне захотелось убежать.

Когда они спустились через час, ей стыдно было проходить мимо каждого лакея, — ей казалось, что все непременно будут шушукаться и смеяться за ее спиной. В душе она ставила в укор Жюльену, что ему это непонятно, что ему недостает тонкой и чуткой стыдливости, врожденной деликатности: она ощущала между собой и им словно какую-то завесу, преграду и впервые убеждалась, что два человека не могут проникнуть в душу, в затаенные мысли друг друга, что они идут рядом, иногда тесно обнявшись, но остаются чужими друг другу и что духовное наше существо скитается одиноким всю жизнь.

Они прожили три дня в этом городке, скрытом в глубине голубой бухты, раскаленном, как горн, за окружающим его заслоном из скал, который не подпускает к нему ни малейшего ветерка.

За это время был выработан маршрут их путешествия, и они решили нанять лошадей, чтобы не отступать перед самыми трудными переходами. Они взяли двух норовистых корсиканских лошадок, поджарых, но неутомимых, и однажды утром на заре тронулись в путь. Проводник ехал рядом верхом на муле и вез провизию, потому что трактиров не водится в этом диком краю.

Сперва дорога шла вдоль бухты, а потом поворачивала в неглубокую долину, ведущую к главным высотам. То и дело приходилось переезжать почти высохшие потоки; чуть заметный ручеек с робким шорохом еще копошился под камнями, как притаившийся зверек.

Невозделанный край казался совсем пустынным, склоны доросли высокой травой, пожелтевшей в эту знойную пору. Изредка встречался им горец, то пешком, то на коренастой лошаденке, то верхом на осле, ростом не больше собаки. У каждого корсиканца за плечом висело заряженное ружье, старое, ржавое, но грозное в его руках. От терпкого запаха ароматических растений, которыми покрыт весь остров, воздух казался гуще; дорога вилась вверх между длинными грядами гор.

Вершины из розового или голубоватого гранита придавали широкому ландшафту сказочный вид, а леса гигантских каштанов на нижних склонах казались зеленым кустарником по сравнению с громадами вздыбленных на этом острове складок земли

Время от времени проводник указывал рукой на высокие кручи и произносил какое-нибудь название Жанна и Жюльен смотрели и ничего не видели, потом обнаруживали наконец что-то серое, похожее на груды камней, упавших с вершины. Это была какая-нибудь гранитная деревушка, прилепившаяся к склону, повисшая, точно птичье гнездо, и почти незаметная на огромной горе

Долгое путешествие шагом раздражало Жанну. «Поедем быстрее», — сказала она и пустила лошадь в галоп. Не слыша, чтобы муж скакал следом, она обернулась и безудержно захохотала, когда увидела, как он мчится, весь бледный, держась за гриву лошади и странно подпрыгивая. И красота его, осанка «прекрасного рыцаря» делали еще смешнее его неловкость и страх

Дальше они поехали рысцей. Дорога тянулась теперь между двумя нескончаемыми лесами, покрывшими весь склон, точно плащом.

Это и были маки, непроходимые заросли вечнозеленых дубов, можжевельника, толокнянки, мастиковых деревьев, крушины, вереска, самшита, мирта, букса, спутанные, как копна волос, сплетенные между собой вьющимся ломоносом, гигантскими папоротниками,

жимолостью, каменным розаном, розмарином, лавандой, терновником, которыми склоны гор обросли, точно густым руном.

Жанна и Жюльен проголодались. Проводник догнал их и привел к прелестному роднику, какие в изобилии встречаются в горных местностях, к тонкой и быстрой струйке ледяной воды, выходящей из отверстия в камне и текущей по каштановому листу, положенному каким-то прохожим в виде желобка, чтобы подвести миниатюрный ручеек прямо ко рту.

У Жанны было так радостно на душе, что ей хотелось кричать от счастья.

Они поехали дальше и начали спуск, огибая Сагонский залив

К вечеру они добрались до Каргеза, греческого поселения, основанного некогда беглецами, изгнанными из отечества. Рослые, красивые девушки, с узкими руками, стройными бедрами и тонким станом, исполненные необычайной грации, собрались у водоема. Жюльен крикнул им «Добрый вечер», — и они ответили ему певучими голосами на мелодичном языке покинутой отчизны.

По приезде в Пиану пришлось просить пристанища, точно это было в далекие времена или в каком-нибудь неведомом краю. Жанна вся дрожала от удовольствия, ожидая, чтобы отворилась дверь, в которую Жюльен постучался. Вот это настоящее путешествие, со всеми неожиданностями неисследованных дорог!

Они попали тоже к молодой чете Их приняли так, как, должно быть, принимали патриархи посланцев божьих, и они переночевали на соломенном тюфяке в старом, источенном червями доме, где по всему насквозь просверленному срубу шныряли древоточцы, пожиратели балок, так что он шуршал и кряхтел, как живой

Выехали они на заре и вскоре остановились перед лесом, настоящим лесом из пурпурного гранита. Тут были и шпили, и колонны, и — башенки — удивительные фигуры, выточенные временем, ветром и морским туманом.

Эти фантастические скалы высотой до трехсот метров, тонкие, круглые, узловатые, крючковатые, бесформенные или самой неожиданной причудливой формы, напоминали деревья, растения, статуи, животных, людей, монахов в рясе, рогатых дьяволов, гигантских птиц, целое племя чудовищ, страшный зверинец, превращенный в камень прихотью какого то сумасбродного бога.

Жанна не могла говорить, сердце у нее замирало, она схватила руку Жюльена, стиснула ее в страстной потребности любви перед такой красотой мира.

Но вот, выбравшись из этого хаоса, они обнаружили новый залив, опоясанный кровавой стеной красного гранита. И синее море отражало багровые утесы.

Жанна пролепетала «Боже мой» Жюльен!»— она не находила других слов, у нее перехватило горло от умиленного восторга, из глаз покатались слезы. Он посмотрел на нее в изумлении и спросил.

— Что с тобой, кошечка?

Она вытерла щеки, улыбнулась и ответила дрожащим голосом:

— Ничего... Это так... должно быть, нервное... сама не знаю... Меня это поразило. Я так счастлива, что любой пустяк волнует мне душу.

Ему была непонятна эта женская нервозность, взволнованность чувствительной природы, которую всякая малость доводит до безумия, восторг потрясает, точно катастрофа, неуловимое впечатление повергает в трепет, сводит с ума от радости или отчаяния.

Ее слезы казались ему смешными, он весь был поглощен трудностями пути.

— Лучше бы ты повнимательнее следила за лошадьёю, — сказал он.

Они спустились к самому заливу почти непроходимой тропой, а потом свернули вправо, чтобы взять подъем мрачной долины Ота.

Дорога не сулила ничего хорошего.

— Не лучше ли взобраться пешком? — предложил Жюльен.

Жанна охотно согласилась, радуясь возможности пройтись и побыть с ним наедине после недавнего потрясения.

Проводник отправился вперед с мулом и лошадьми, а они стали подниматься неторопливым шагом.

Гора, расколота от вершины до основания, расступается. Тропинка углубляется в эту расселину. Она идет низом между двумя гигантскими скалами, а по самому дну ущелья мчится полноводный поток.

Воздух тут ледяной, гранит кажется черным, а клочок неба вверху удивляет, ошеломляет своей голубизной.

Внезапный шум испугал Жанну. Она подняла глаза — огромная птица вылетела из какой-то расселины: это был орел. Распростертые крылья его как будто касались обеих стен ущелья, он взмыл вверх и исчез в лазури.

Дальше трещина в горе раздваивается; тропинка круто извивается между двумя пропастями. Жанна легко и беззаботно бежала вперед, так что камешки сыпались у нее из-под ног, и бесстрашно наклонялась над обрывами. Муж шагал за ней, запыхавшись, глядя в землю из страха дурноты.

Неожиданно на них хлынул поток солнечного света; они словно выбрались из ада. Им хотелось пить, влажный след посреди нагромождения камней привел их к маленькому ручейку, отведенному козыми пастухами в выдолбленную колоду. Вся земля кругом была устлана мхом. Жанна встала на колени, чтобы напиться; Жюльен последовал ее примеру.

Она никак не могла оторваться от холодной струи; тогда он обнял ее за талию и попытался занять ее место у края деревянного желобка. Она противилась, губы их встречались, сталкивались, отстранялись. В перипетиях борьбы то один, то другой хватал узкий конец стока и, чтобы не выпустить, стискивал его зубами. А струйка холодной воды, переходя от одного к другому, дробилась, сливалась, обрызгивала лица, шеи, одежду, руки. Капельки, подобно жемчужинам, блестели у них в волосах. И вместе с водой текли поцелуи.

Вдруг Жанну осенила любовная фантазия. Она наполнила рот прозрачной влагой и, раздув щеки, как мехи, показала Жюльену, что хочет напоить его из уст в уста.

С улыбкой он откинул голову, раскрыл объятия и, не отрываясь, стал пить из этого живого родника, вливавшего в него жгучее желание.

Жанна прижималась к нему с непривычной нежностью; сердце ее трепетало, грудь вздымалась, глаза затуманились, увлажнились. Она прошептала чуть слышно:» Люблю тебя... Жюльен «, — притянула его к себе и опрокинулась навзничь, закрыв руками вспыхнувшее от стыда лицо.

Он упал на нее, порывисто схватил ее в объятия. Она задыхалась в страстном ожидании и вдруг вскрикнула, пораженная, как громом, тем ощущением, которого жаждала.

Долго добирались они до верхней точки подъема, так была истомлена и взволнована Жанна, и только к вечеру попали в Эвизу, к родственнику их проводника, Паоли Палабретти.

Это был рослый, чуть сутулый мужчина, хмурый на вид, как часто бывают чахоточные. Он проводил их в отведенную им комнату — унылую комнату с голыми каменными стенами, но роскошную для этого края, не знающего прикрас; не успел он выразить на своем корсиканском наречии — смеси французского с итальянским, — какая для него радость оказать им гостеприимство, как его прервал звонкий голос, и в комнату вбежала маленькая женщина, брюнетка с большими черными глазами, с жгучим румянцем и тонким станом. С неизменной улыбкой, обнажающей зубы, она расцеловала Жанну, встряхнула руку Жюльену, все время твердя:

— Здравствуйте, сударыня, здравствуйте, сударь! Как поживаете?

Она помогла снять шляпы, шали, прибрала все одной рукой, потому что другая была у нее на перевязи. Затем выпроводила всех, заявив мужу:

— Пойди погуляй с ними до обеда.

Палабретти тотчас повиновался и отправился показывать Жанне и Жюльену деревню. Он шел между ними, еле шевеля ногами и языком, беспрестанно кашлял, приговаривая после каждого приступа:

— В долине-то свежо, вот грудь у меня и простыла.

Он вывел их на запущенную тропинку. Внезапно он остановился под огромным каштаном и заговорил тягучим голосом:

— На этом самом месте моего двоюродного брата, Жана Ринальди, убил Матье Лори. Глядите, я стоял вот здесь, возле Жана, а Матье как вынырнет вдруг шагах в десяти от нас да как закричит:» Жан, не смей ходить в Альбертаче! Говорю тебе, Жан, не смей, а не то, верь моему слову, я тебя убью!»

Я схватил Жана за руку:» Не ходи, Жан, он и впрямь тебя убьет «.

А они оба одну девушку, Полину Синакупи, обхаживали.

Ну, а Жан и закричи в ответ:» Нет, пойду. И не тебе, Матье, помешать мне в этом «.

Тут, не успел я схватиться за ружье, как Матье прицелился и выстрелил.

Жан подпрыгнул, поверьте, сударь, не меньше, чем на два фута, совсем как ребенок прыгает через веревочку, и со всего маху рухнул на меня, так что ружье мое отлетело вон до того большого каштана. Рот у Жана был открыт, только он не вымолвил ни слова, он уже кончился.

Молодая чета в растерянности смотрела на невозмутимого свидетеля такого преступления. Жанна спросила:

— А что ж убийца?

Паоли Палабретти долго кашлял, прежде чем ответить.

— Удрал в горы. А на другой год его убил мой брат. Знаете моего брата, Филиппа Палабретти, бандита?

Жанна вздрогнула:

— У вас брат — бандит?

Глаза благодушного корсиканца сверкнули гордостью.

— Да, сударыня, еще какой знаменитый! Шестерых Жандармов уколошил. Он погиб вместе с Николо Морали, когда их окружили в Ниоло. Шесть дней они держались и уж совсем пропадали с голоду.

И тем же философским тоном, каким говорил:» В долине-то свежо «, — он добавил:

— Обычай в нашей стране такие.

После этого они возвратились обедать, и маленькая корсиканка обошлась с ними так, словно знала их двадцать лет.

Но Жанну неотступно мучила тревога. Ощутит ли она вновь в объятиях Жюльена ту незнакомую раньше, бурную вспышку страсти, которую испытала на мху у родника?

Когда они остались одни в спальне, она боялась, что снова будет бесчувственной под его ласками. Но вскоре убедилась, что страх ее напрасен, и это была ее первая ночь любви.

Наутро, когда настало время уезжать, ей не хотелось расставаться с этим убогим домиком, где, казалось, началась для нее новая, счастливая пора.

Она звала к себе в комнату маленькую хозяйку и стала с горячностью настаивать, чтобы та позволила послать ей из Парижа какой-нибудь пустячок, не в виде платы, а на память, придавая этому подарку некое суеверное значение.

Молодая корсиканка долго отказывалась. Наконец согласилась.

— Так и быть, — сказала она, — пришлите мне пистолет, только совсем маленький.

Жанна глаза раскрыла от удивления. А хозяйка пояснила шепотом, на ушко, как поверяют сладостную, заветную тайну:

— Мне деверя убить надо.

Улыбаясь, она торопливо размотала перевязки на своей бездействующей руке и показала на ее белоснежной округлости сквозную кинжальную рану, успевшую почти зарубцеваться.

— Не будь я одной с ним силы, — сказала она, — он бы меня убил. Муж-тот не ревнует, он меня знает, и потом он ведь больной; это ему кровь-то и остужает. Я, сударыня, и в самом деле женщина честная; ну, а деверь всяким рассказням верит и ревнует за мужа. Он, конечно, набросится на меня опять. Вот тут у меня и будет пистолетик, тогда уж мне нечего бояться, я за себя постою.

Жанна обещала прислать оружие, нежно расцеловала новую приятельницу и отправилась в дальнейший путь.

Конец путешествия был для нее каким-то сном непрерывных объятий, пьянящих ласк. Она ничего не видела — ни пейзажей, ни людей, ни городов, где останавливалась. Она смотрела только на Жюльена.

И тут началась милая ребячливая близость, с любовными дурачествами, глупыми и прелестными словечками, с ласкательными прозвищами для всех изгибов, извилин и складок ее и его тела, какие облюбовали их губы.

Жанна спала обычно на правом боку, и левая грудь часто выглядывала наружу при пробуждении. Жюльен это подметил и окрестил ее:» гуляка «, а вторую:» лакомка «, потому что розовый бутон ее соска был как-то особенно чувствителен к поцелуям.

Глубокая ложбинка между обеими получила прозвище» маменькина аллея «, потому что он постоянно прогуливался по ней; а другая, более потаенная ложбинка именовалась» путь в Дамаск» — в память долины Ота.

По приезде в Бастию надо было расплатиться с проводником. Жюльен пошарил в карманах. Не найдя подходящей монеты, он обратился к Жанне:

— Раз ты совсем не пользуешься деньгами твоей матери, лучше отдай их мне. У меня они будут сохраннее, а мне не придется менять банковые билеты.

Она протянула ему кошелек.

Они переправились в Ливорно, побывали во Флоренции, в Генуе, объехали всю итальянскую Ривьеру.

В одно ветреное утро они снова очутились в Марселе.

Два месяца прошло с их отъезда из Тополей. Было пятнадцатое октября.

Жанна загрустила от холодного мистрала, который дул оттуда, из далекой Нормандии. Жюльен с некоторых пор переменялся, казался усталым, равнодушным; и ей было страшно, она сама не понимала чего.

Она отсрочила возвращение еще на четыре дня, ей все не хотелось расставаться с этими благодатными, солнечными краями. Ей казалось, будто она исчерпала свою долю счастья.

Наконец они уехали. Им надо было сделать в Париже множество покупок для окончательного устройства в Тополях, и Жанна заранее предвкушала, сколько всяких чудес навезет она на деньги, подаренные маменькой; но первое, о чем она подумала, был пистолет, обещанный молодой корсиканке из Эвизы.

На следующий день после приезда она обратилась к Жюльену:

— Дорогой мой, верни мне, пожалуйста, мамины деньги, я собираюсь делать покупки.

Он повернулся к ней с недовольным видом:

— Сколько тебе нужно?

Она удивилась и пролепетала;

— Ну... сколько хочешь.

Он решил:

— Вот тебе сто франков; только смотри не трать зря.

Она не знала, что сказать, совсем растерявшись и смутившись.

Наконец она робко заметила:

— Но... ведь... я тебе дала деньги на...

Он оборвал ее:

— Совершенно верно. Не все ли равно, будут ли они у тебя или у меня, раз у нас теперь общий карман. Да я и не отказываю, ведь я же даю тебе сто франков.

Не сказав ни слова, она взяла пять золотых, но больше попросить не посмела и купила только пистолет.

Неделю спустя они отправились домой, в Тополя.

VI

У белой ограды с кирпичными столбами собрались в ожидании родные и прислуга. Почтовая карета остановилась, и начались нескончаемые объятия. Маменька плакала; растроганная Жанна утирала слезы; отец нервно шагал взад и вперед.

Пока выгружали багаж, в гостиной, у камина, шли рассказы о путешествии. Слова в изобилии текли с уст Жанны; за полчаса было описано все, решительно все, кроме каких-нибудь мелочей, упущенных в спешке повествования.

Затем Жанна пошла раскладывать чемоданы. Ей помогала Розали, тоже взволнованная. Когда с этим было покончено, когда белье, платья, туалетные принадлежности были водворены по местам, горничная оставила свою госпожу; и Жанна села в кресло несколько утомленная.

Она не знала, что ей делать дальше, мысленно искала, чем занять ум, к чему приложить руки. Ей не хотелось спускаться в гостиную, где дремала мать; она думала было пойти погулять, но пейзаж был такой унылый, что стоило ей взглянуть в окно, как на сердце падала тоска.

И тогда она вдруг поняла, что у нее нет и никогда больше не будет никакого дела. Вся юность ее в монастыре была поглощена будущим, занята мечтаниями. Волнующие надежды заполняли в ту пору все ее время, и ей незаметно было, как оно текло. Затем, не успела она покинуть благочестивые стены, где расцветали ее грезы, как ожидание любви сбылось для нее. Тот, кого она ждала, кого встретила, полюбила, за кого вышла замуж, — и все это в течение нескольких недель, сгоряча, — этот человек унес ее в своих объятиях, так что она даже не успела опомниться.

Но вот сладостная действительность первых дней превращалась в действительность будничную, которая закрывала двери для туманных чаяний, увлекательных волнений перед неизвестным. Да, ждать уже было нечего.

А значит, и делать нечего — и сегодня, и завтра, и всегда Она все это ощутила по какой-то смутной разочарованности, по оскудению грез.

Она встала и прижалась лбом к холодному оконному стеклу. Некоторое время она смотрела на небо, по которому ползли темные облака, потом решила выйти из дому.

Неужели это тот же сад, та же трава, те же деревья, что были в мае? Куда девалась солнечная радость листвы, изумрудная поэзия лужайки с огоньками одуванчиков, кровавыми пятнами маков, звездочками маргариток и трепещущими, как на невидимых нитях, фантастическими желтыми бабочками? И не было уже пьянящего воздуха, насыщенного жизнью, ароматами, плодоносной пылью.

Размытые постоянными осенними ливнями, устланные плотным ковром опавших листьев, аллеи тянулись под продрогшими, почти оголенными тополями. Тощие ветки встряхивали на ветру последние остатки листвы, еще не развеянной в пространстве. И весь день, без перерыва, точно неумный, до слез тоскливый дождь, срывались, кружили, летали и падали эти последние, совсем уже желтые, похожие на крупные золотые монеты листья.

Жанна дошла до рощи. В ней было уныло, как в комнате больного Зеленые заросли, разделявшие уютные извилистые дорожки, осыпались. Сплетенные между собой кусты, точно кружево из ажурного дерева, терлись друг о друга голыми ветками, и как тяжкий вздох умирающего был шелест палой листвы, которую ветер шевелил, подгонял, наметал в кучи. Крошечные пичужки с зябким писком прыгали тут и там в поисках приюта.

Однако плотная стена вязов, выставленных заслоном против морских ветров, сохранила липе и платану их летний убор, и они стояли — одна словно в алом бархате, другой в оранжевом атласе, окрашенные первыми заморозками согласно свойству растительных соков каждого.

Жанна медленно бродила взад и вперед по маменькиной аллее мимо фермы Куяров. Что-то угнетало ее, словно предчувствие долгих дней тоски в предстоящей однообразной жизни.

Затем она уселась на откосе, где Жюльен впервые заговорил с ней о любви; она сидела, как в забытии, почти без мыслей и чувствовала глубокую усталость; ей хотелось лечь,

уснуть, уйти от печали этого дня

Вдруг она увидела чайку, которую гнал по небу порыв ветра, и ей вспомнился орел, летавший там, в Корсике, в мрачной долине Ота. Сердце ее защемило, как щемит от воспоминания о чем-то прекрасном и ушедшем; и перед ней сразу же встал чудесный остров с его дикими благоуханиями, с его солнцем, под которым зреют апельсины и лимоны, его горы с розовыми вершинами, голубые бухты и ущелья, где бурлят потоки

И тогда осенняя, сырая, суровая природа вокруг нее, скорбный листопад и серая пелена туч, уносимых ветром, погрузили ее в такую бездну тоски, что она поспешила вернуться домой, боясь разрыдаться.

Маменька дремала, разомлев у камина; она привыкла к однообразному течению дней и не замечала его уныния. Отец и Жюльен пошли погулять и поговорить о делах. Надвинулась ночь и заволокла угрюмым сумраком большую комнату, которую освещали лишь мгновенные вспышки огня в камине.

За окнами в последнем свете дня еще видна была хмурая картина поздней осени и серенькое, тоже словно все в слякоти, небо.

Вскоре возвратились барон с Жюльеном; войдя в темную гостиную, барон тотчас позвонил и крикнул:

— Скорей, скорей несите лампы, а то здесь такая тоска!

Он уселся перед камином. Его отсыревшие сапоги дымились у огня, с подошв сыпалась высохшая грязь, а он весело потирал руки.

— Кажется, начинаются холода, — заметил он, — к северу небо посветлело, а сегодня новолуние; этой ночью крепко подморозит.

Затем он повернулся к дочери:

— Ну как, дочурка, довольна, что вернулась на родину, к себе домой, к своим старикам?

Этот простой вопрос до глубины души потряс Жанну. Глаза ее наполнились слезами. Она бросилась на шею отцу и принялась лихорадочно целовать его, словно просила прощения, потому что, как ни старалась она быть веселой, ей было смертельно грустно. Она вспомнила, сколько радости ждала от свидания с родителями, и ее удивляло собственное равнодушие, убивавшее всякую теплоту; когда в разлуке много думаешь о любимых людях, но отвыкаешь ежечасно видеть их, то при встрече ощущаешь некоторую отчужденность до тех пор, пока не скрепятся вновь узы совместной жизни.

Обед тянулся долго; никто не разговаривал. Жюльен, казалось, забыл про жену.

Потом, в гостиной, она задремала у огня, напротив маменьки, которая спала крепким сном; когда же ее разбудили голоса о чем-то споривших между собой мужчин, она постаралась встряхнуться, задавая себе вопрос, неужели и ее затянет унылое болото ничем не возмущаемых привычек.

Пламя в камине, вялое и красноватое днем, теперь оживилось, разгорелось. Неровными, яркими вспышками оно освещало выцветшую обивку кресел с лисицей и журавлем, с цаплей-печальницей, со стрекозой и муравьем.

Подошел барон и, улыбаясь, протянул руку к пылающим головням.

— Ого! Хорошо горит нынче вечером. А на дворе подмораживает, дети мои, подмораживает.

Потом, положив руку на плечо Жанны, он указал на огонь:

— Видишь, дочурка, самое главное на свете — очаг и своя семья вокруг очага. Лучше этого ничего нет. Но, по-моему, пора спать. Вы, должно быть, очень устали, детки?

Когда Жанна поднялась к себе в спальню, она задумалась над тем, как различно может быть возвращение в одно и то же, казалось бы, любимое место. Почему она так подавлена, почему и дом, и родной край, и все, что было дорого, теперь надрывает ей душу?

Вдруг взгляд ее упал на часы. Пчелка по-прежнему так же быстро и размеренно порхала слева направо и справа налево над позолоченными цветами. И тут Жанну пронизал порыв внезапной нежности, глубочайшего умиления перед этим маленьким механизмом,

который выпевал ей время и бился, как живое сердце.

Она была несравненно меньше растрогана, когда обнимала отца и мать. У сердца есть загадки, не доступные разуму.

Впервые после замужества она была одна в постели, так как Жюльен, под предлогом усталости, устроился в другой комнате. Впрочем, они заранее решили, что у каждого будет отдельная спальня.

Она долго не могла уснуть, ей было странно не чувствовать рядом другого тела и непривычно спать в одиночестве; ее тревожил злобный северный ветер, который бушевал на крыше.

Утром она проснулась от яркого света, окрасившего багрянцем ее кровать; а в окнах, запущенных инеем, было так красно, словно весь небосвод горел огнем.

Закутавшись в широкий пеньюар, Жанна подбежала к окну и распахнула его.

Ледяной ветер, свежий и пронзительный, ворвался в комнату, хлестнул ей в лицо колючим холодом, от которого заслезились глаза; а посреди зардевшегося неба солнце, огромное, пылающее, раздутое, как физиономия пьяницы, поднималось из-за деревьев.

Заиндевшая, ставшая твердой и сухой, земля звенела под ногами работников фермы. За одну ночь все ветви тополей, еще покрытые листьями, оголились, а вдалеке за ландой виднелась широкая зеленоватая полоса океана, вся в белых прожилках.

Платан и липа на глазах теряли свой убор. При каждом порыве ледяного ветра целый вихрь опавших от внезапного заморозка листьев взлетал вместе со шквалом, как стая птиц. Жанна оделась, вышла и, чтобы заняться чем-нибудь, решила навестить фермеров.

Мартены встретили ее с распростертыми объятиями, а хозяйка расцеловала ее в обе щеки; потом ее заставили выпить рюмку наливки, настоянной на вишневых косточках. Она отправилась на вторую ферму. Куяры тоже встретили ее с распростертыми объятиями; хозяйка чмокнула ее в одно и в другое ушко, и тут пришлось отведать черносмородиновой наливки. После этого она вернулась завтракать.

И день прошел, как вчерашний, только он был морозный, а не сырой. И остальные дни недели оказались похожи на первые два; и все недели месяца оказались похожи на первую.

Однако мало-помалу тоска по дальним краям улеглась в ней. Привычка покрывала ее жизнь налетом покорности, подобно тому как некоторые воды отлагают на предметах слой извести. И в душе ее проснулось внимание к ничтожным мелочам повседневного быта, ожил интерес к немудреным будничным занятиям. В ней развивалась своего рода созерцательная меланхолия, неосознанная разочарованность в жизни. Что же было ей нужно? Чего она хотела? Она и сама не знала. У нее не было ни малейшего тяготения к светской суеде, ни малейшей жажды удовольствий и даже не было стремления к доступным для нее радостям. Да и к каким, впрочем? Подобно старым креслам в гостиной, поблекшим от времени, все понемногу бледнело в ее глазах. Все стиралось, приобретало тусклый, сумрачный оттенок.

Отношения ее с Жюльеном совершенно изменились. Он стал совсем другим после возвращения из свадебного путешествия, точно актер, который сыграл свою роль и принял обычный вид. Он почти не обращал на нее внимания, почти не разговаривал с ней; любви как не бывало; редкую ночь он проводил в ее спальне.

Он взял на себя управление имуществом и хозяйством, проверял арендные сроки, донимал крестьян, урезывал расходы; сам он приобрел замашки полупомещика, полупфермера и утратил все изящество, весь лоск времен жениховства.

Он отыскал среди своего холостяцкого гардероба потертый охотничий бархатный костюм, весь в пятнах, и носил его не снимая; с небрежностью человека, которому незачем больше нравиться, он перестал бриться, и длинная борода невообразимо уродовала его. Руки он тоже перестал холить, а после каждой еды выпивал четыре-пять рюмок коньяку.

Когда Жанна сделала попытку нежно попенять ему, он так резко оборвал ее: «Оставь меня в покое, слышишь?» — что она уже не решалась давать ему советы.

Неожиданно для себя самой она легко примирилась с этими переменами. Он просто стал для нее чужим человеком, чье сердце и душа непонятны ей. Она часто задумывалась над

тем, как могло случиться, что они встретились, влюбились, поженились в порыве увлечения, а потом вдруг оказались совершенно чужды друг другу, как будто никогда и не спали бок о бок

И почему она почти не страдала от его равнодушия? Значит, так полагается в жизни? Или они ошиблись? Неужели будущее ничего больше не сулит ей?

Быть может, она страдала бы сильнее, если бы Жюльен был по-прежнему красивым, холеным, щеголеватым, обольстительным.

Решено было, что после Нового года молодожены останутся одни, а отец и маменька поедут пожить несколько месяцев в своем руанском доме Новобрачные всю зиму пробудут в Тополях, чтобы окончательно обосноваться, освоиться и привыкнуть к этому уголку, где им предстоит провести всю жизнь. Кстати, Жюльен собирался представить жену соседям, семействам Бризвиль, Кутелье и Фурвиль.

Но молодые еще не могли делать визиты, потому что никак не удавалось добыть живописца, который изменил бы герб на карете.

Дело в том, что барон уступил зятю старый фамильный экипаж, и Жюльен ни за какие блага не соглашался появиться в соседних поместьях, пока герб рода де Ламар не будет соединен с гербом Ле Пертюи де Во.

Но во всей местности имелся только один мастер по части геральдических украшений — живописец из Больбека, по фамилии Батайль, которого наперебой приглашали во все нормандские замки для изображения на дверцах экипажей драгоценных для хозяев эмблем.

Наконец в одно декабрьское утро, когда господа кончали завтрак, какой-то человек отворил калитку и направился прямо к дому. За спиной у него виднелся ящик. Это и был Батайль.

Его ввели в столовую и подали завтрак, как барину, потому что его ремесло, постоянное общение со всей местной аристократией, знание геральдики, ее специальной терминологии и всех атрибутов сделали из него нечто вроде живого гербовника, и дворяне пожимали ему Руку.

Немедленно были принесены карандаши и бумага, и, пока Батайль завтракал, барон и Жюльен делали наброски своих гербов, разделенных на четыре поля. Баронесса, всполошившись, как всегда, когда затрагивали эту тему, подавала советы; и даже Жанна приняла участие в обсуждении, заинтересовавшись им под влиянием какого-то безотчетного чувства.

Батайль закусывал и в то же время высказывал свое мнение, а иногда брал карандаш, набрасывал эскиз, приводил примеры, описывал помещичьи выезды всей округи и самым присутствием своим, речами, даже голосом сообщал окружающему дух аристократизма.

Это был низенький человечек, седой, коротко остриженный, руки у него были выпачканы красками, и весь он пропах скипидаром. Ходили слухи, что в прошлом за ним числилось грязное дельце об оскорблении нравственности; но единодушное уважение всех титулованных семейств смыло с него это пятно.

Когда он допил кофе, его провели в каретный сарай; с кареты был снят клеенчатый чехол. Осмотрев ее, Батайль с апломбом высказался относительно размеров герба и после нового обмена мнениями приступил к делу.

Несмотря на холод, баронесса велела принести себе кресло, так как желала наблюдать за работой; вскоре она потребовала грелку, потому что у нее заоченели ноги; после этого они принялась мирно беседовать с живописцем, расспрашивала его о брачных союзах, еще не известных ей, о недавних смертях и рождениях, пополняя этими сведениями родословные, которые хранила в памяти.

Жюльен сидел возле тещи, верхом на стуле. Он курил трубку, сплевывая наземь, прислушивался к разговору и следил за тем, как расписывали красками его дворянство.

Вскоре и дядя Симон, отправлявшийся в огород с лопатой на плече, остановился посмотреть на работу живописца; а так как весть о прибытии Батайля достигла обеих ферм, то не замедлили явиться и обе фермерши. Стоя возле баронессы, они восторгались и

твердили:

— Вот ловкач-то, какие штуки разделявает!

Закончены были гербы на обеих дверцах только на другой день к одиннадцати часам. Тотчас же все оказались в сборе; карету выкатили во двор, чтобы лучше было видно.

Работа была безупречна. Батайля хвалили хором, а он взвалил себе на спину ящик и удалился. Барон, его жена, Жанна и Жюльен в один голос решили, что живописец весьма способный малый и при благоприятных обстоятельствах из него, без сомнения, вышел бы настоящий художник.

В целях экономии Жюльен осуществил ряд реформ, а они, в свою очередь, потребовали новых изменений.

Старик кучер был сделан садовником, так как виконт решил править сам, а выездных лошадей продал, чтобы не тратиться на корм.

Но кому-то надо было держать лошадей, когда господа выйдут из экипажа, и потому он произвел в выездные лакеи подпaska Мариуса.

Наконец, чтобы иметь лошадей, он ввел в арендный договор Куяров и Мартенов особую статью, согласно которой оба фермера обязаны были давать по лошади один раз в месяц в указанный им день, за что они освобождались от поставки птицы. И вот однажды Куяры привели большую рыжую клячу, а Мартены — белую лохматую лошаденку, обеих запрягли вместе, и Мариус, утонувший в старой ливрее дяди Симона, подкатил с этим выездом к господскому крыльцу.

Жюльен почистился, приосанился и отчасти вернул себе прежнюю щеголеватость; но все же длинная борода придавала ему вульгарный вид.

Он осмотрел лошадей, карету, мальчишку-лакея и счел их удовлетворительными, так как для него важен был только новый герб.

Баронесса вышла из своей спальни под руку с мужем, с трудом взобралась в экипаж и уселась, опершись на подушки. Появилась и Жанна. Сперва она посмеялась несуразной паре лошадей; по ее словам, белая была внучкой рыжей; но затем она увидела Мариуса, у которого все лицо ушло под шляпу с кокардой и только нос задерживал ее, руки исчезли в недрах рукавов, ноги скрывались в фалдах ливреи, как в юбке, а снизу неожиданно выглядывали огромные башмаки; она увидела, как он закидывает голову, чтобы смотреть, как он поднимает ноги, чтобы ступить, словно идет вброд через речку, как он тычется вслепую, исполняя приказания, весь утонув, потерявшись в складках обширных одежд, — увидев все это, она залилась неудержимым, нескончаемым смехом.

Барон обернулся, оглядел растерянного мальчугана, сам расхохотался вслед за Жанной и стал звать жену, с трудом выговаривая слова:

— По... ос... мо... три на Ма-ма-ма-риуса: вот потеха! Господи, вот потеха-то!

Тут и баронесса выглянула в окно и, увидев Мариуса, так затряслась от хохота, что вся карета запрыгала, словно на ухабах. Но Жюльен спросил, побледнев:

— Да чего вы так смеетесь? Вы, кажется» сошли с ума!

Жанна изнемогала, задыхалась, не могла совладать с собой и, наконец, опустилась на ступени подъезда; барон — вслед за нею, а доносившиеся из кареты судорожное сопенье и непрерывное кудахтанье доказывали, что баронесса совсем захлебывается от смеха. Вдруг затрепыхалась и ливрея Мариуса. Он, по-видимому, сообразил, в чем тут дело, и тоже захохотал во всю мочь под прикрытием своего цилиндра.

Тут рассвирепевший Жюльен бросился на него и влепил ему такую пощечину, что гигантская шляпа свалилась с головы мальчика и отлетела на лужайку; после этого он повернулся к тестю и прохрипел, заикаясь от ярости:

— Казалось бы, вам-то уж смеяться нечего. Ведь докатились мы да этого, потому что вы растратили свое состояние и промотали свое добро. Кто виноват, что вы разорены?

Все веселье замерло и прекратилось в один миг. Никто не проронил ни слова. Жанна была близка к слезам, она бесшумно примостилась возле матери. Барон молча, растерянно сел напротив обеих женщин, а Жюльен расположился на козлах, после того как втащил туда

всхлипывающего мальчугана, у которого вспухла щека.

Путь был печален и казался долгим. В карете молчали. Все трое были подавлены и смущены и не хотели признаться друг другу в том, что тревожило их сердца. Они чувствовали? что не могли бы говорить о постороннем, настолько они были поглощены одной мучительной мыслью, и потому предпочитали уныло молчать, лишь бы не касаться этой тягостной темы.

Лошади неровной рысцой везли карету, минуя дворы ферм. Иногда она вспугивала черных кур, которые удирали во всю прыть и ныряли под изгородь, иногда за нею с яростным лаем гналась овчарка, а потом поворачивала домой, но все еще оглядывалась, ошестинившись, и лаяла вслед экипажу.

Иногда навстречу попадался длинноногий парень в измазанных грязью деревянных башмаках. Он лениво шагал, засунув руки в карманы синей блузы, раздутой на спине ветром, сторонился, чтобы пропустить карету, и неуклюже стягивал картуз, обнажая голову с плоскими косицами слипшихся волос.

А в промежутках между фермами снова тянулась равнина с другими фермами, разбросанными вдали.

Наконец экипаж въехал в широкую еловую аллею, идущую от самой дороги. На глубоких, наполненных грязью рывинах карета накренялась, и маменька вскрикивала. В конце аллеи виднелись белые запертые ворота; Мариус побежал отворять их, и, обогнув по закругленной дороге огромную лужайку, карета подъехала к большому высокому и хмурому зданию с закрытыми ставнями.

Неожиданно распахнулась средняя дверь, и старый, немощный слуга в полосатой, красной с черным, фуфайке, наполовину закрытой широким фартуком, мелкими шажками, бочком спустился с крыльца. Он спросил фамилию гостей, провел их в большую залу и с трудом поднял всегда спущенные жалюзи.

Мебель была в чехлах, часы и канделябры обернуты белой кисеей, а затхлый, застоявшийся, холодный и сырой воздух, казалось, пропитывал грустью легкие, сердце и все поры.

Гости уселись и стали ждать. Шаги в коридоре, над головой, свидетельствовали о непривычной суете. Застигнутые врасплох хозяева спешно одевались. Ждать пришлось долго. Несколько раз слышался колокольчик. Кто-то шнырял по лестнице вверх и вниз.

Баронесса продрогла от пронизывающего холода и все время чихала. Жюльен шагал взад и вперед. Жанна уныло сидела возле матери. А барон стоял, потупив голову и прислонясь к каминной доске.

Наконец одна из высоких дверей распахнулась, и показались виконт и виконтесса де Бризвиль. Оба они были низенькие, сухонькие, вертлявые, неопределенного возраста, церемонные и неловкие. Жена, в шелковом с разводами платье и маленьком старушечьем чепчике с бантами, говорила быстро, визгливым голосом.

Муж, затянутый в парадный сюртук, отвечивал поклоны, сгибая колени. И нос его, и глаза, и выступающие зубы, и словно навощенные волосы, и праздничный наряд — все блестело, как блестят предметы, которые очень берегут.

После первых приветствий и добрососедских любезностей никто не знал, что сказать дальше. Тогда еще раз без всякой надобности обе стороны выразили удовольствие и надежду на продолжение столь приятного знакомства. Истая находка такие встречи, когда круглый год живешь в деревне.

А от ледяного воздуха в этой зале стыли кости, хрипли голоса. Теперь баронесса и чихала и кашляла. Барон поспешил подать сигнал к отъезду. Бризвиль запротестовали: «Что вы? Так скоро? Посидите еще». Но Жанна уже встала, хотя Жюльен, находивший визит слишком коротким, делал ей знаки.

Хозяева хотели позвонить слуге и приказать, чтобы подали карету, но звонок не действовал. Хозяин побежал сам и вернулся с сообщением, что лошадей поставили на конюшню.

Пришлось ждать. Каждый придумывал, что бы еще сказать. Поговорили о дождливой погоде. Жанна, невольно содрогаясь от тоски, спросила, что же делают хозяева целый год вдвоем, одни. Но Бризвилей удивил такой вопрос; они были постоянно заняты, вели обширную переписку со своей знатной родней, рассеянной по всей Франции, проводили дни в самых мелочных занятиях, держались друг с другом церемонно, как с чужими, и торжественно беседовали о ничтожнейших делах.

И под высоким почерневшим потолком большой, нежилой, закутанной в чехлы залы оба, муж и жена, такие щупленькие, чистенькие, учтивые, казались Жанне мумиями аристократизма.

Наконец карета, влекомая двумя непарными одрами, проехала под окнами. Но теперь исчез Мариус. Считая себя свободным до вечера, он, вероятно, Пошел прогуляться по окрестностям.

Разъяренный Жюльен попросил, чтобы мальчика отправили пешком, и после многократных взаимных приветствий гости поехали домой в Тополя.

Едва очутившись в карете, Жанна и отец, несмотря на гнетущее воспоминание о грубости Жюльена, снова начали смеяться и передразнивать манеры и выражения Бризвилей. Барон подражал мужу, Жанна изображала жену, но баронесса, задетая в своих дворянских традициях, заметила:

— Вы напрасно смеетесь над ними, это весьма почтенные люди, и, кроме того, Бризвиль одна из самых родовитых фамилий.

Оба умолкли, чтобы не раздражать маменьку, но время от времени не могли удержаться, переглядывались и принимались за прежнее. Барон церемонно кланялся и изрекал важным тоном:

— В вашем поместье Тополя, должно быть, весьма холодно, сударыня, при постоянном ветре с моря?

Жанна напускала на себя чопорный вид и отвечала, жеманясь и вертя головой, как утка в воде:

— Что вы, сударь, у меня очень много дела круглый год. Затем у нас столько родни и такая обширная переписка с ней. А господин де Бризвиль все возлагает на меня. Сам он занимается научными изысканиями с аббатом Пеллем. Они совместно пишут историю церкви в Нормандии.

Баронесса улыбалась благодушно и досадливо, повторяя при этом:

— Нехорошо насмехаться над людьми нашего круга.

Но вдруг карета остановилась. Жюльен кричал и звал кого то, обернувшись назад. Жанна и барон высунулись в окошко и увидели странное существо, которое как будто катилось по направлению к ним. Это Марине со всех ног догонял карету, путаясь в развевающихся фалдах ливреи, ничего не видя под цилиндром, который все время съезжал ему на глаза, размахивая руками, как крыльями мельницы, без оглядки шлепая по всем лужам и спотыкаясь обо все камни, какие только попадались на дороге, подсакивая, подпрыгивая, по уши в грязи.

Не успел он добежать, как Жюльен нагнулся, ухватил его за ворот, притянул к себе и, бросив вожжи, принялся колотить кулаками по шляпе, как по барабану, и нахлобучил ее до самых плеч мальчика Мальчуган ревел под шляпой, пытался вырваться, спрыгнуть с козел, но хозяин держал его одной рукой, а другой продолжал бить

Жанна в ужасе вскрикнула:

— Папа! Папа!

Баронесса, вне себя от возмущения, сжала руку мужа.

— Остановите, остановите же его, Жак!

Барон стремительно опустил переднее стекло, схватил зятя за рукав и крикнул ему прерывающимся от гнева голосом:

— Перестанете вы бить ребенка?

Жюльен в изумлении обернулся.

— Да разве вы не видели, во что он превратил ливрею?

Но барон просунул голову между ними обоими и произнес

— Велика важность! Нельзя быть таким зверем.

Жюльен вспылал:

— Пожалуйста, оставьте меня в покое, это вас не касается

И он опять занес руку, но тесть поймал ее на лету и опустил с такой силой, что она стукнулась о козлы, при этом он закричал так гневно: «Если вы не перестанете, я выйду и усмирю вас!»— что виконт сразу притих, не ответил ни слова, пожал плечами и хлестнул лошадей, которые тронули крупной рысью.

Обе женщины сидели не шевелясь, мертвенно-бледные, и только явственно слышались тяжелые удары сердца баронессы.

За обедом Жюльен держал себя как ни в чем не бывало, даже любезнее обычного Жанна, отец, мадам Аделаида в своем несокрушимом доброжелательстве не помнили зла и теперь радовались его приветливости, охотно поддавались веселью с тем отрадным чувством, какое испытывают выздоравливающие, а когда Жанна снова заговорила о Бризвилях, ее муж подхватил шутку, но тут же торопливо добавил

— А все-таки они настоящие аристократы

Больше визитов не делали, всем было страшно затронуть проблему Мариуса Решено было только разослать соседям карточки на Новый год, а для посещений дожидаться первых теплых дней весны.

Наступило рождество В Тополях к обеду были приглашены кюре и мэр с женой Их позвали также на Новый год Это были единственные развлечения в однообразной веренице дней

Отец и маменька должны были уехать девятого января. Жанна просила их побыть еще, но Жюльен не поддержал ее, и барон, видя все возрастающую холодность зятя, выписал из Руана почтовую карету.

Накануне отъезда, когда все уже было уложено, а погода стояла ясная и морозная, Жанна с отцом решили прогуляться в Ипор, где они не были ни разу после ее возвращения с Корсики

Они пересекли лес, по которому она в день свадьбы бродила рука об руку с тем, чьей спутницей стала навсегда, лес, где она извела первую ласку, ощутила первый трепет, предвестие той чувственной любви, которую ей суждено было познать лишь в дикой долине Ота, возле ручья, когда они утоляли жажду и вместе с водой пили поцелуи

Не стало больше ни листвы, ни буйных трав — ничего, кроме шороха сучьев да того сухого шелеста, какой слышится зимой в оголенных рощах

Они вошли в деревню Пустынные, безмолвные улицы все так же были пропитаны запахом моря, водорослей и рыбы По-прежнему сушились развешанные у дверей или разложенные на гальке большие бурые сети Холодное, серое море с неизменной бурливой пеной начало отступать, обнажая зеленоватые уступы у подножия скалистого кряжа близ Фекана, а лежащие на боку вдоль всего берега большие лодки напоминали огромных дохлых рыб. Смеркалось, и рыбаки в шерстяных шарфах вокруг шеи, в высоких сапогах сходились кучками к берегу, в одной руке держа флягу с водкой, в другой — корабельный фонарь. Долго топтались они вокруг поваленных на бок баркасов: с нормандской медлительностью укладывали в судно сети, снасти, караваи хлеба, горшок с маслом, стакан и бутылку со спиртным. После этого они толкали в море поднятый баркас, и он с грохотом катился по гальке, прорезал пену, взлетал на волну, покачивался несколько мгновений, расправляя свои темные крылья, и скрывался во мгле вместе с огоньком на верхушке мачты.

А рослые матросские жены, тяжелый костяк которых выступал под реденькой тканью одежды, дожидались отплытия последнего рыбака и лишь тогда возвращались в спящую деревню, тревожа своими крикливыми голосами глубокий сон темных улиц.

Барон и Жанна стояли не шевелясь и следили, как исчезают во мраке эти люди, которые каждую ночь уходили в море, навстречу смерти, чтобы не умереть с голоду, и все

же были бедны настолько, что никогда не ели мяса.

Барон, потрясенный зрелищем океана, прошептал:

— Как это страшно — и как прекрасно! Как величаво это море, где реет сумрак и стольким жизням грозит гибель! Не правда ли, Жаннета?

— Средиземное море гораздо лучше, — ответила она с холодной улыбкой.

Но отец возмутился:

— Средиземное море! Елей, сироп, подсиненная водица в лохани. Да ты посмотри на это — какое оно страшное, какие на нем пенные волны! И подумай о тех, кто вышел в это море и уж совсем скрылся из виду.

Жанна со вздохом согласилась: «Да, пожалуй». Но слетевшие у нее с языка слова: «Средиземное море» — кольнули ее в сердце, возвратили мысли к тем далеким краям, где были погребены ее мечты.

Вместо того чтобы вернуться лесом, отец и дочь вышли на дорогу и не спеша взобрались по крутому берегу. Они почти не говорили, угнетенные близкой разлукой.

Временами, когда они проходили мимо какой-нибудь фермы, им в лицо ударял то аромат размятых яблок, благовоние свежего сидра, которым в эту пору напитан воздух всей Нормандии, то густой запах хлева, тот славный, теплый дух, которым тянет от коровьего навоза.

Освещенное окошко в глубине двора указывало на жильё.

И Жанне казалось, что душа ее выходит за свои пределы, охватывает и постигает незримое, а при виде огоньков, разбросанных среди полей, она вдруг особенно остро ощутила одиночество всех живых созданий, которых все разъединяет, все разлучает, все отрывает от того, что было бы им дорого.

И тоном покорности она произнесла:

— Невеселая штука — жизнь.

Барон вздохнул:

— Что поделаешь, дочурка, мы над ней не властны.

На следующий день отец с мамёнкой уехали, а Жанна и Жюльен остались одни.

VII

В обиход молодых супругов сразу же вошли карты. Каждый день после завтрака Жюльен, покуривая трубку и выпивая не спеша рюмок шесть или восемь коньяку, играл с женою несколько партий в безик. После этого она поднималась к себе в спальню, садилась у окна и под стук дождя, барабанившего в стекла, под вой ветра, сотрясавшего их, упорно вышивала волан к нижней юбке. Порою, утомившись, она поднимала взгляд и смотрела вдаль на темное море с барашками пены. Потом, после минутного беспредметного созерцания, снова бралась за рукоделье.

Впрочем, больше ей и нечего было делать, так как Жюльен, чтобы полностью удовлетворить свое властолюбие и свои наклонности скопидома, сам управлял всем хозяйством. Он обнаруживал жесточайшую скардность, никогда не давал чаевых, до крайности урезал расходы по столу. С самого своего приезда в Тополя Жанна заказывала себе к утру у булочника нормандский хлебец, — Жюльен упразднил и этот расход и ограничил ее гренками.

Она ничего не говорила во избежание объяснений, споров и ссор, но, как от булавочного укола, страдала от каждого нового проявления мужниной скупости. Ей, воспитанной в семье, где деньги ни во что не ставились, это казалось недостойным, отвратительным. Сколько раз слышала она от мамёнки: «Да деньги для того и существуют, чтобы их тратить». А теперь Жюльен твердил ей «Неужто ты никогда не отучишься сорить деньгами?» И всякий раз, как ему удавалось выгадать несколько грошей на жалованье или на счете, он заявлял с улыбкой, пряча деньги в карман: «По капельке — море, по зернышку — ворох!»

Но бывали дни, когда Жанна снова принималась мечтать. Работа откладывалась, руки ее опускались, взор заволакивался, и она вновь, как в девические годы, сочиняла увлекательный роман, мысленно переживала чудесные приключения. И вдруг голос Жюльена, отдававшего приказания дяде Симону, выводил ее из мечтательной дремы; она бралась снова за свое кропотливое рукоделье, говоря себе «С этим покончено!» И на пальцы, вкальзывающие иглу, падала слеза.

Розали, прежде такая веселая, такая певичка, переменялась тоже. Округлые щеки ее утратили румяный глянец, ввалились и временами бывали землистого цвета.

Жанна часто спрашивала ее:

— Уж не больна ли ты, голубушка?

И горничная неизменно отвечала:

— Нет, сударыня.

При этом она слегка краснела и спешила ускользнуть.

Она уже не бегала, как прежде, а с трудом волочила ноги и даже перестала наряжаться, ничего не покупала у разносчиков, которые тщетно прельщали ее атласными лентами, корсетами и разной парфюмерией.

В большом доме ощущалась гулкая пустота, он стоял мрачный, весь в длинных грязных подтеках от дождей.

К концу января начался снегопад. Издалека было видно, как с севера над хмурым морем проплывали тяжелые тучи, и вдруг посыпались белые хлопья. В одну ночь занесло всю равнину, и наутро деревья стояли, окутанные ледяным кружевом.

Жюльен, обутый в высокие сапоги, неряшливо одетый, проводил все время в конце рощи, во рву, выходящем на ланду, и подстерегал перелетных птиц, время от времени выстрел прерывал застывшую тишину по лей, и стаи вспугнутых черных ворон, кружа, взлетали с высоких деревьев.

Жанна, изнывая от скуки, спускалась иногда на крыльцо. Шум жизни доносился до нее откуда-то издалека, отдаваясь эхом в сонном безмолвии мертвенной и мрачной ледяной пелены.

Немного погодя она слышала уже один лишь гул далеких волн да неясный непрерывный шорох не перестававшей падать ледяной пыли.

И снежный покров все рос и рос, все падали и падали густые и легкие хлопья.

В одно такое серенькое утро Жанна сидела, не двигаясь, в своей спальне у камина и грела ноги, а Розали, меняющаяся с каждым днем, медленно убирала постель. Внезапно Жанна услышала за своей спиной болезненный вздох. Не оборачиваясь, она спросила:

— Что с тобой?

— Ничего, сударыня, — как обычно, ответила горничная.

Но голос у нее был надорванный, еле слышный.

Жанна стала уже думать о другом, как вдруг заметила, что девушки совсем не слышно. Она позвала:

— Розали!

Никто не шевельнулся. Решив, что Розали незаметно вышла из комнаты, Жанна крикнула громче:

— Розали!

И уже протянула руку к звонку, как вдруг услышала тяжкий стон совсем возле себя и вскочила в испуге.

Служанка, бледная как мертвец, с блуждающим взглядом, сидела на полу, вытянув ноги и опершись на спинку кровати.

Жанна бросилась к ней:

— Что с тобой, что с тобой?

Та не ответила ни слова, не сделала ни малейшего движения, безумными глазами смотрела она на свою хозяйку и тяжело дышала, как от жестокой боли. Потом вдруг напряглась всем телом и повалилась навзничь, стискивая зубы, чтобы подавить вопль.

страдания.

И тут у нее под платьем, облепившим раздвинутые ноги, что-то зашевелилось. Сейчас же оттуда послышался странный шум, какое-то бульканье, как бывает, когда кто-нибудь захлебывается и задыхается; вслед за тем раздалось протяжное мяуканье, тоненький, но уже страдальческий плач, первая жалоба ребенка, входящего в жизнь.

Жанна сразу все поняла и в полном смятении бросилась на лестницу, крича:

— Жюльен, Жюльен!

— Что тебе? — спросил он снизу.

— Там... там... Розали... — еле выговорила она.

Жюльен мигом взбежал по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки, ворвался в спальню, резким движением поднял юбку девушки и обнаружил омерзительный комок мяса; сморщенный, скулящий и весь липкий, он корчился и копошился между обнаженных ног матери.

Жюльен выпрямился со злым видом и вытолкнул растерянную жену за дверь:

— Это тебя не касается. Ступай и пришли мне Людивину и дядю Симона.

Дрожа всем телом, Жанна спустилась на кухню, потом, не смея вернуться, вошла в гостиную, где не топили с отъезда родителей, и стала с трепетом ждать вестей.

Вскоре она увидела, как из дому выбежал слуга. Спустя пять минут он возвратился с вдовой Дантю, местной повитухой.

Сейчас же на лестнице послышались шаги и суета, как будто несли раненого; и Жюльен пришел сказать Жанне, что она может вернуться к себе.

Она снова села у камина, дрожа так, словно оказалась свидетельницей катастрофы.

— Ну, как Розали? — спросила она.

Жюльен озабоченно и беспокойно шагал по комнате: казалось, его душит злоба, он чем-то сильно раздражен. Сперва он не ответил, но немного погодя остановился перед женой:

— Как ты предполагаешь поступить с этой девкой?

Она с недоумением посмотрела на мужа.

— Как это? Что ты хочешь сказать? Я не понимаю.

Он сразу вспыхнул и заорал:

— Да не можем же мы держать в доме ублюдка.

Это озадачило Жанну, но после долгого раздумья она предложила:

— А как ты думаешь, мой друг, нельзя ли отдать его на воспитание?

Он не дал ей договорить.

— А платить кто будет? Ты, что ли?

Она снова стала искать выхода, наконец сказала:

— Отец должен позаботиться о ребенке. А если он женится на Розали, все будет улажено.

Жюльен совсем вышел из себя и яростно рявкнул:

— Отец!.. Отец! А ты знаешь его... отца-то? Не знаешь? Ну, так как же?

Жанна возразила возбужденно:

— Но не бросит же он девушку в таком положении. Тогда, значит, он подлец! Мы узнаем его имя, пойдем к нему и потребуем объяснений.

Жюльен успокоился и снова зашагал по комнате.

— Дорогая моя, она не хочет назвать его имя. Неужели мне она не говорит, а тебе скажет?.. Ну, а если он не пожелает жениться? Мы не можем держать под своей крышей девушку-мать с ее отродьем. Понимаешь ты это?

Жанна упрямо твердила:

— Значит, он негодяй! Но мы его отыщем, и он будет иметь дело с нами.

Жюльен густо покраснел и снова повысил голос:

— Хорошо... А пока что?

Она не знала, что решить, и спросила его:

— Ну, а ты что предлагаешь?

Он с готовностью высказал свое мнение:

— Я бы поступил просто. Дал бы ей немного денег и отправил ко всем чертям вместе с ее младенцем.

Но молодая женщина возмутилась и запротестовала:

— Никогда. Эта девушка — моя молочная сестра. Мы вместе выросли. Она согрешила, очень жаль, но ничего не поделаешь. Я ее за это не вышвырну на улицу, и, если иначе нельзя, я буду воспитывать ее ребенка.

Тут Жюльен совсем разъярился:

— Хорошую же мы себе создадим репутацию! Это при нашем имени и связях! Все будут говорить, что мы поощряем порок и держим у себя потаскушек. Порядочные люди не переступят нашего порога. Что тебе в голову приходит? Ты не в своем уме!

Она продолжала невозмутимо:

— Я не позволю выгнать Розали. Если ты не желаешь ее держать, моя мать возьмет ее к себе. В конце концов мы допытаемся, кто отец ребенка.

Взбешенный Жюльен вышел из комнаты, хлопнув дверью, и крикнул:

— Какие дурацкие фантазии бывают у женщин!

Под вечер Жанна пошла к родильнице. Предоставленная попечению вдовы Дантю, она лежала в постели неподвижно, с широко открытыми глазами, а сиделка укачивала на руках новорожденного.

Едва Розали увидела свою барыню, она заплакала и спрятала голову под одеяло, вся сотрясаясь от иступленных рыданий. Жанна хотела ее поцеловать, но она противилась, закрывала лицо.

Тут вмешалась сиделка, силой отвела от ее лица одеяло, и она покорилась, продолжая плакать, но уже тихонько.

Скудный огонь горел в камине, в каморке было холодно; ребенок плакал. Жанна не осмелилась заговорить о нем, чтобы не вызвать новых слез. Она только держала руку горничной и машинально повторяла:

— Все обойдется, все обойдется.

Бедная девушка украдкой поглядывала на сиделку и вздрагивала от писка малыша; последние отголоски душившего ее горя вырывались порой судорожным всхлипыванием, а сдерживаемые слезы, как вода, клокотали у нее в горле.

Жанна поцеловала ее еще раз и чуть слышно прошептала ей на ухо:

— Не беспокойся, голубушка, мы о нем позаботимся.

Тут начался новый приступ плача, и Жанна поспешила уйти.

Каждый день она приходила снова, и каждый день при виде ее Розали раздражалась слезами.

Ребенка отдали на воспитание по соседству.

Жюльен между тем еле говорил с женой, словно затаил против нее лютую злобу, после того как она отказалась уволить горничную. Однажды он вернулся к этому вопросу, но Жанна вынула из кармана письмо, в котором баронесса просила, чтобы девушку немедленно прислали к ней» если ее не будут держать в Тополях. Жюльен в ярости заорал:

— Мать у тебя такая же сумасшедшая, как и ты!

Но больше не настаивал. Через две недели родильница могла уже встать и вернуться к своим обязанностям.

Как-то утром Жанна усадила ее, взяла за руки и сказала, испытующе глядя на нее:

— Ну, голубушка, расскажи мне все.

Розали задрожала всем телом и пролепетала:

— Что, сударыня?

— От кого у тебя ребенок?

Тут горничная снова отчаянно зарыдала и в полном смятении старалась высвободить руки, чтобы закрыть ими лицо.

Но Жанна целовала и утешала ее, как она ни противилась.

— Ну, случилось несчастье. Что поделаешь, голубушка. Ты не устояла; не ты первая. Если отец ребенка женится на тебе, никто слова не скажет, и мы возьмем его в услужение вместе с тобой.

Розали стонала, как под пыткой, и время от времени силилась вырваться и убежать.

Жанна продолжала:

— Я понимаю, что тебе стыдно, но ведь ты видишь, я не сержусь и говорю с тобой ласково. А имя этого человека я спрашиваю для твоего же блага. Раз ты так убиваешься, значит, он бросил тебя, я не хочу допустить это. Ты понимаешь, Жюльен пойдет к нему, и мы заставим его жениться. А если вы будете оба жить у нас, мы уж не позволим ему обижать тебя.

Тут Розали рванулась так резко, что выдернула свои руки из рук барыни, и, как безумная, бросилась прочь.

За обедом Жанна сказала Жюльену:

— Я уговаривала Розали сказать мне имя ее соблазнителя. У меня ничего не вышло. Попытайся теперь ты, ведь должны же мы заставить этого негодяя жениться на ней.

Жюльен сразу же вспылил:

— Ну, знаешь ли, мне уже надоела эта история. Ты решила оставить у себя эту девку — дело твое, но меня, пожалуйста, не трогай.

После родов Розали он стал как-то особенно раздражителен. Он взял себе за правило кричать, разговаривая с женой, как будто всегда был сердит на нее. Она же, наоборот, старалась избегать всяких стычек, говорила тихо, мягким, примирительным тоном и нередко плакала по ночам у себя в постели.

Несмотря на постоянное раздражение, ее муж вернулся снова к любовным привычкам, оставленным после приезда в Тополя, и редко пропускал три ночи подряд, чтобы не переступить порога супружеской спальни.

Розали скоро поправилась совсем и стала меньше грустить, хотя все время казалась испуганной, словно дрожала перед какой-то неведомой опасностью.

Жанна еще два раза пыталась выспросить ее, и оба раза она убежала.

Жюльен неожиданно стал приветливее; и молодая женщина, цепляясь за какие-то смутные надежды, повеселела, хотя и чувствовала иногда непривычное недомогание, о котором не говорила ни слова. Оттепели все не было, и целых пять недель небо, светлое днем, как голубой хрусталь, а ночью, точно инеем, запорошенное звездами по всему своему суровому ледяному простору, расстилалось над гладкой, застывшей, сверкающей пеленой снегов.

Фермы, отгороженные от мира прямоугольниками дворов и завесами высоких деревьев, опущенных снегом, как будто уснули в своей белой одежде. Ни люди, ни животные не выглядывали наружу; только трубы домишек обнаруживали скрытую в них жизнь тоненькими столбиками дыма, поднимавшегося прямо вверх в морозном воздухе.

Равнина, кустарники и деревья вдоль изгородей — все, казалось, умерло, все было убито холодом. Время от времени слышно было, как трещали вязы, словно их деревянные кости ломались под корой; большая ветка отрывалась порою и падала, потому что лютый мороз леденил соки и рвал волокна дерева.

Жанна не могла дожидаться, чтобы снова повеяло теплом, так как приписывала холодной погоде все неопределенные недомогания, мучившие ее.

Иногда она не могла ничего есть, всякая пища была ей противна; иногда у нее начинало бешено стучать сердце; иногда самые легкие кушанья вызывали у нее несварение желудка, а напряженно натянутые нервы держали ее в постоянном нестерпимом возбуждении.

Однажды вечером термометр опустился еще ниже; Жюльен встал из-за стола, поживаясь (в столовой никогда не топили как следует, потому что он экономил на дровах), и, потирая руки, шепнул:

— Хорошо будет спать вдвоем нынче ночью, правда, кошечка?

Он смеялся своим прежним благодушным смехом, и Жанна бросилась ему на шею; но в этот вечер ей было до того не по себе, так все у нее болело, нервы были так необычайно взвинчены, что она тихонько попросила, целуя мужа в губы, оставить ее спать одну. В нескольких словах она рассказала ему о своем недомогании.

— Прощу тебя, дорогой мой, мне, право же, очень нездоровится. Завтра, наверно, будет лучше.

Он не настаивал.

— Как хочешь, дорогая. Если ты больна, надо лечиться.

И разговор перешел на другие темы.

Она легла рано. Жюльен, против обыкновения, велел затопить камин в своей комнате. Когда ему доложили, что «горит хорошо», он поцеловал жену в лоб и ушел.

Холод, казалось, пронизывал насквозь весь дом; промерзшие стены трещали, как будто пожимались от озноба, и Жанна вся дрожала в постели.

Два раза она вставала, подбрасывала в огонь поленья и доставала платья, юбки, старую одежду, чтобы навалить все это на себя. Но согреться она не могла; ноги ее коченели, а от икр и до самых бедер их стягивали судороги, от которых она ворочалась с боку на бок и металась в сильнейшем возбуждении.

В конце концов у нее стали стучать зубы; руки дрожали; грудь стеснило; сердце билось медленными глухими ударами и минутами совсем замирало; она задыхалась, ей не доставало воздуха.

Безумный страх овладел ее душой, а нестерпимый холод прохватывал до мозга костей. Ничего подобного она еще не испытывала, ей казалось, что жизнь покидает ее, что она сейчас испустит дух.

Она подумала: «Я умру... Я умираю...»

В ужасе она вскочила с постели, позвонила Розали, подождала, позвонила еще, подождала снова, дрожа и коченея.

Горничная не являлась. Должно быть, она спала тем первым крепким сном, который ничем не перебьешь, и Жанна, не помня себя, бросилась босиком по лестнице.

Она поднялась неслышно, ощупью отыскала дверь, открыла ее, позвала: «Розали!»— пошла вперед, наткнулась на кровать, пошарила по ней руками и убедилась, что она пуста. Пуста и холодна, как будто никто и не ложился в нее.

С удивлением она подумала: «Что это? Опять гуляет где-то! Даже по такой погоде».

Но в эту минуту сердце у нее вдруг бурно заколотилось, дыхание перехватило, и она, собрав последние силы, бросилась обратно, будить Жюльена.

Она вбежала к нему стремительно, движимая уверенностью, что она сейчас умрет, и потребностью взглянуть на него прежде, чем потеряет сознание.

При свете тлеющих углей она увидела на подушке рядом с головой мужа голову Розали.

От ее крика оба вскочили. Мгновение она стояла неподвижно, ошеломленная таким открытием. Потом кинулась к себе в комнату, но испуганный голос Жюльена позвал ее: «Жанна!»— и ей стало безумно страшно увидеть его, услышать его голос, выслушивать лживые объяснения, встретиться с ним взглядом. Она снова метнулась на лестницу и бросилась вниз.

Она бежала теперь в темноте, рискуя скатиться по каменным ступенькам и разбиться насмерть. Ее гнало безудержное желание спрятаться, ничего больше не знать, никого больше не видеть.

Очутившись внизу, она опустилась на ступеньку, босая, в одной рубашке, и сидела там как потерянная.

Жюльен вскочил с постели и торопливо одевался. Она слышала его движения, шаги. Она поднялась, чтобы убежать от него. Вот он тоже спускается по лестнице и кричит: «Жанна, послушай же!»

Нет, она не хотела слушать его, не хотела, чтоб он хоть пальцем коснулся ее; и она

ринулась в столовую, как будто спасаясь от убийцы. Она искала выхода, убежища, темного угла, возможности укрыться от него. Она забилась под стол. Но он уже появился на пороге со свечой в руке, продолжая кричать: «Жанна!»— и она снова, как заяц, пустилась наутек, шмыгнула в кухню, два раза обежала ее, точно животное, которое травят; а когда он и тут нагнал ее, она внезапно распахнула наружную дверь и бросилась в сад.

Ее голые ноги временами по колени погружались в снег, и это леденящее прикосновение придавало ей силы отчаяния. Она не испытывала холода, хотя и была в одной рубашке; она вообще уже ничего не ощущала, настолько боль души притупила чувствительность тела, и она бежала, вся белая, как покрытая снегом земля.

Она пробежала большую аллею, пересекла рощу» перепрыгнула ров и устремилась прямо по ланде.

Луны не было, звезды искрились огненными зернами на черни неба, но равнина стояла светлая в своей тусклой белизне, в мертвенном оцепенении, в беспредельном безмолвии.

Жанна шла быстро, не переводя дыхания, не сознавая ничего, не задумываясь ни над чем. И вдруг она очутилась на краю обрыва. Она разом инстинктивно остановилась и села в снег, опустошенная, без мысли, без воли.

Из темной ямы перед ней, с невидимого и немого моря тянуло солоноватым запахом водорослей в час отлива.

Долго сидела она так, в бесчувствии духовном и телесном, но вдруг начала отчаянно дрожать, как парус под ветром. Ноги, руки, пальцы неудержимо трепетали, сотрясались частой дрожью, и сознание в один миг вернулось к ней, ясное, беспощадное.

И видения прошлого замелькали перед ее глазами: прогулка с ним в баркасе дяди Ластика, их разговор, зарождение любви, крестины лодки; потом она заглянула еще дальше назад — вплоть до ночи своего приезда в Тополя, ночи, проведенной в мечтах. А теперь, боже ты мой, теперь! Жизнь ее разбита, счастье кончено, надежд больше нет, и ей представилось страшное будущее, полное мучений, измен и горя. Лучше умереть и сразу покончить со всем.

Издали донесся голос:

— Сюда, сюда, вот ее следы; скорее сюда!

Это Жюльен разыскивал ее.

О нет, она не хочет его видеть. В пропасти, прямо под нею, она улавливала теперь слабый шорох, еле слышный плеск моря о скалы.

Она вскочила и вся вытянулась для прыжка. Отчаявшись в жизни и прощаясь с ней, она простонала последнее слово умирающих, последнее слово юношей-солдат, смертельно раненных в бою: «Мама!»

И сразу мысль о маменьке мелькнула у нее; она представила себе материнские рыдания; представила себе отца на коленях перед ее изуродованным трупом и в одно мгновение пережила всю боль их отчаяния.

Тогда она бессильно повалилась на снег и уже не пыталась бежать, когда Жюльен и дядя Симон в сопровождении Мариуса с фонарем схватили ее за руки и оттащили назад, потому что она была у самого края обрыва.

Они делали с ней все, что хотели, она не могла даже пошевелинуться. Она чувствовала, как ее несли, как уложили в постель, а потом растирали горячими полотенцами; дальше память оставила ее, сознание исчезло.

Потом ее стал мучить кошмар; но был ли это кошмар? Она лежит у себя в спальне. На дворе день, но она не может встать. Почему? Она сама не знает! Тут ей слышится шорох на полу, кто-то шуршит и скребется, и вдруг мышка, серенькая мышка пробегает по ее одеялу. Вслед за первой вторая, потом третья влезает ей на грудь, часто и быстро перебирая лапками. Жанне не было страшно, ей только хотелось поймать зверька, она вытянула руку, но не могла схватить его.

А тут другие мыши, десятками, сотнями, тысячами полезли со всех сторон, карабкались по колонкам кровати, бегали по обоям, покрыли всю постель. Наконец они заползли под

одеяло; Жанна чувствовала, как они скользили по ее коже, щекотали ей ноги, бегали вверх и вниз по всему телу. Она видела, как они пробирались по кровати от ног к ней на грудь; она отбивалась, стараясь схватить их, но ловила только воздух.

Она раздражалась, хотела бежать, кричала, но ей казалось, что ее не пускают, что ее держат и не дают ей пошевелиться чьи-то сильные руки; чьи это были руки — она не видела.

Она не имела представления о времени. Должно быть, это длилось долго, очень долго.

Потом настало пробуждение, томное, немощное и все же блаженное. Она была очень, очень слаба. Она открыла глаза и не удивилась, увидев у себя в комнате маменьку и рядом с ней какого-то незнакомого толстяка. Сколько было ей лет? Она не знала и этого, считала себя совсем маленькой и не помнила ничего, решительно ничего.

Толстяк сказал:

— Смотрите, сознание возвращается.

И маменька заплакала.

А толстяк сказал еще:

— Ну, что вы, успокойтесь, баронесса, теперь я могу поручиться за исход. Только не заговаривайте с ней ни о чем; слышите, ни о чем. Пусть она поспит.

И Жанне казалось, что она еще долго-долго пробыла в забытьи, впадая в глубокий сон всякий раз, как старалась собраться с мыслями; да она особенно и не старалась припоминать; должно быть, она смутно боялась той действительности, которая могла возникнуть в ее памяти.

Но вот однажды она проснулась и возле своей постели увидела Жюльена, одного; и сразу все вспомнилось ей, как будто взвился занавес, за которым скрывалось прошлое.

Острая боль полоснула ее по сердцу, и она снова сделала попытку бежать. Она откинула одеяло, соскочила на пол, но ноги не держали ее, и она упала.

Жюльен бросился к ней, и она дико завывала от ужаса, что он дотронется до нее. Она извивалась, каталась по полу. Дверь распахнулась. Прибежали тетя Лизон с вдовой Дантю, вслед за ними барон и, наконец, запыхавшаяся и перепуганная маменька.

Жанну уложили, и она сразу же умышленно закрыла глаза, чтобы не говорить и подумать на свободе.

Мать и тетка ухаживали за ней, хлопотали вокруг нее, спрашивали наперебой:

— Ты меня слышишь, Жанна, крошка моя Жанна?

Она притворилась, что не слышит, и не отвечала; но она отлично заметила, что день подходит к концу. Настала ночь. У ее постели расположилась сиделка и время от времени подносила ей питье.

Она пила покорно, но не спала ни минуты; она мучительно думала, припоминала то, что от нее ускользало, как будто в памяти у нее образовались провалы, большие пустоты, где события не отпечатались совсем.

Мало-помалу, после долгих стараний, она восстановила все обстоятельства.

И она стала обдумывать их с неотступным упорством.

Раз маменька, тетя Лизон и барон приехали, значит, она была очень больна. Но как же Жюльен? Что он сказал? Что знали родители? А Розали? Где была она? А главное, что делать? Что делать? Ее осенила мысль — уехать с отцом и маменькой в Руан и жить там по-прежнему. Она будет вдовой — вот и все.

После этого она стала прислушиваться к тому, что говорили вокруг, понимала все отлично, радовалась, что снова вполне владеет рассудком, но хитрила, терпеливо выжидая.

Наконец вечером, оставшись наедине с баронессой, она тихонько окликнула ее:

— Маменька!

Собственный голос удивил ее, показался ей чужим. Баронесса схватила ее руки:

— Жанна, девочка моя дорогая, дочка моя, ты меня узнаешь?

— Да, да, маменька, только не плачь. Нам предстоит длинный разговор. Жюльен сказал тебе, почему я убежала тогда по снегу?

— Да, голубка моя, у тебя была жестокая и очень опасная горячка.

— Это неверно, мама, горячка была потом, а сказал он тебе, что вызвало эту горячку и почему я убежала?

— Нет, родная моя.

— Потому что я застала Розали у него в постели.

Баронесса решила, что она снова бредит, и нежно погладила ее.

— Спи, моя милочка, успокойся, постарайся заснуть.

Но Жанна не сдавалась:

— Я сейчас в полном сознании, мамочка, не думай, что я заговариваюсь, как все эти дни. Как-то ночью мне сделалось нехорошо, и я пошла позвать Жюльена. Он лежал в постели с Розали. Я от горя потеряла голову и побежала по снегу, чтобы броситься с обрыва.

Но баронесса все твердила:

— Да, голубка моя, ты была очень больна, очень, очень больна.

— Да нет же, мама, я застала Розали в постели Жюльена, и я не хочу больше жить с ним. Ты увезешь меня обратно в Руан.

Помня наставления доктора не перечить Жанне ни в чем, баронесса ответила:

— Хорошо, родная.

Но больная начала раздражаться:

— Я вижу, ты мне не веришь. Пойди позови папу, он скорей поймет меня.

Маменька поднялась с трудом, взяла обе свои палки, вышла, волоча ноги, и вернулась спустя несколько минут вместе с бароном, который поддерживал ее.

Они сели около кровати, и Жанна сразу же заговорила. Потихоньку, слабым голосом, она с полной ясностью описала все: странный характер Жюльена, его грубость, скардность и, наконец, его измену.

Когда она кончила, барону было ясно, что она не бредит, но он сам не знал, что думать, что решить, что отвечать.

Он нежно взял ее за руку, как в детстве, когда убаюкивал ее сказками.

— Послушай, дорогая, надо действовать осторожно. Не будем торопиться, постарайся терпеть мужа до тех пор, пока мы примем решение... Обещаешь?

— Постараюсь, но только я здесь не останусь жить, когда буду здоровая — прошептала она.

И еще тише спросила:

— А где теперь Розали?

— Ты ее больше не увидишь, — ответил барон.

Но она настаивала:

— Я хочу знать, где она?

Он принужден был сознаться, что она еще здесь, в доме, но уверил, что скоро ее не будет.

Выйдя от больной, барон, возмущенный, уязвленный в своих отцовских чувствах, отправился к Жюльену и начал напярмик:

— Сударь, я пришел спросить у вас отчета о вашем поведении в отношении моей дочери. Вы изменили ей с ее горничной, что недостойно вдвойне.

Но Жюльен разыграл невинность, с жаром отрицал все, клялся, божился. Да и какие они могли предъявить доказательства? Ведь Жанна была невменяема, недаром она только что перенесла воспаление мозга и в приступе беспамятства, в самом начале болезни, среди ночи бросилась бежать по снегу. И как раз во время этого приступа, когда она бегала полуголой по дому, она якобы видела в постели мужа свою горничную!

Он возвышал голос, он грозил судом, страстно возмущался. И барон смешался, стал оправдываться, попросил прощения и протянул свою благородную руку, которую Жюльен отказался пожать.

Когда Жанна узнала ответ «мужа, она не рассердилась и только сказала:

— Он лжет, папа, но мы в конце концов заставим его сознаться.

В течение двух дней она была молчалива и сосредоточенно размышляла.

На третье утро она пожелала видеть Розали. Барон отказался позвать горничную наверх, заявив, что ее тут больше нет. Жанна ничего не хотела слышать, она твердила:

— Тогда пусть пойдут к ней на дом и приведут ее.

Она уже начала раздражаться, когда появился доктор. Ему рассказали все, чтобы он рассудил, как быть. Но Жанна вдруг расплакалась, страшно разволновалась и почти кричала:

— Я хочу видеть Розали! Слышите, хочу!

Тут доктор взял ее за руку и сказал ей вполголоса:

— Сударыня, успокойтесь, всякое волнение для вас опасно: ведь вы беременны.

Она оцепенела, точно громом пораженная; и сразу же ей почудилось, будто что-то шевелится в ней. Она не проронила больше ни слова, не слушала даже, что говорят вокруг, и думала о своем. Всю ночь она не сомкнула глаз, ей не давала спать странная и новая мысль, что вот тут, внутри, у нее под сердцем живет ребенок; ей было грустно и жалко, что он — сын Жюльена; ее тревожило, пугало, что он может быть похож на отца.

Рано утром она позвала барона.

— Папенька, я приняла твердое решение; мне нужно все знать, теперь особенно; понимаешь — нужно, а ты знаешь, мне нельзя перечить в моем теперешнем положении. Так вот слушай. Ты пойдешь за господином кюре. Он мне необходим, чтобы Розали говорила правду. Как только он придет, ты велишь ей подняться сюда и сам будешь тут вместе с маменькой. Но, главное, постарайся, чтобы Жюльен ни о чем не догадался.

Час спустя явился священник, он еще разжирел и пыхтел не меньше маменьки. Когда он уселся возле кровати в кресло, живот отвис у него между раздвинутых ног; начал он с шуток, по привычке утирая лоб клетчатым платком:

— Ну-с, баронесса, сдается мне, мы с вами не худеем. На мой взгляд, мы друг друга стоим.

Затем он повернулся к постели больной:

— Хе-хе! Что я слышал, молодая дамочка? Скоро у нас будут новые крестины? Хо-хо-хо! И уж теперь крестить придется не лодку, а будущего защитника родины, — окончил он серьезным тоном, но после минутного раздумья добавил, поклонившись в сторону баронессы: — А то, может быть, хорошую мать семейства, вроде вас, сударыня.

Но тут открылась дверь в дальнем конце комнаты. Розали, перепуганная, вся в слезах, упиралась и цеплялась за косяк, а барон подталкивал ее. Наконец он рассердился и резким движением втолкнул ее в комнату. Тогда она закрыла лицо руками и стояла, всхлипывая.

Жанна, едва увидев ее, стремительно выпрямилась и села, белая как полотно, а сердце у нее колотилось так бешено, что от ударов его приподнималась тонкая рубашка, прилипшая к влажной коже. Она не могла говорить, задыхалась, с трудом ловила воздух. Наконец она выдавила из себя прерывающимся от волнения голосом:

— Мне... мне... незачем... тебя спрашивать... Достаточно видеть тебя... видеть... как... тебе стыдно передо мной.

Она остановилась, потом, отдышавшись, продолжала:

— Но я хочу знать все... все. Я позвала господина кюре, чтобы это было, как на исповеди. Понимаешь?

Розали не шевелилась, только из-под ее стиснутых рук вырывались приглушенные вопли.

Барон, потеряв терпение, схватил ее руки, гневно отвел их и швырнул ее на колени перед кроватью:

— Говори же... Отвечай!

Она лежала на полу в той позе, в какой принято изображать кающихся грешниц: чепец съехал набок, фартук распластался по паркету, а лицо она снова закрыла руками, как только высвободила их.

Тут к ней обратился кюре:

— Слушай, дочь моя, что у тебя спрашивают, и отвечай. Зла тебе никто не желает; от тебя только требуют правды.

Жанна перегнулась через край кровати и смотрела на нее. Потом сказала:

— Верно это, что ты была в постели Жюльена, когда я вошла?

Розали простонала сквозь прижатые к лицу руки:

— Да, сударыня.

Тут расплакалась баронесса, громко всхлипывая и вторя судорожным рыданиям Розали.

Жанна, не спуская глаз с горничной, спросила:

— Когда это началось?

— С первого дня, — пролепетала Розали.

Жанна не поняла.

— С первого дня... Значит... значит... с весны?

— Да, сударыня.

— С первого дня, как он вошел в этот дом?

— Да, сударыня.

Жанна торопливо сыпала вопросами, как будто они душили ее:

— Но как же это случилось? Как он заговорил об этом? Как он взял тебя? Что он тебе сказал? Когда же, как ты уступила? Как ты могла уступить ему?

И Розали на этот раз отвела руки, в лихорадочной потребности говорить, высказаться.

— Почему я знаю! Как он в первый раз здесь обедал, так и пришел ко мне в комнату. А до того спрятался на чердаке. Кричать я не посмела, чтобы огласки не вышло. Он лег ко мне в кровать; я себя не помнила; он и сделал со мной, что хотел. Я смолчала, потому что очень он мне приглянулся!

Жанна прервала ее криком:

— А ребенок... ребенок, значит, у тебя... от него?

— Да, сударыня, — сквозь рыдания ответила Розали.

После этого обе замолчали.

Слышны были только всхлипывания Розали и баронессы.

Потрясенная Жанна почувствовала, что и у нее глаза наполнились слезами; капли беззвучно потекли по щекам. У ее ребенка и ребенка горничной — один отец! Гнев ее утих. Она была охвачена мрачным, тупым, глубоким, безмерным отчаянием.

Наконец она заговорила совсем другим голосом, хриплым от слез, голосом плачущей женщины:

— А после того как мы вернулись... оттуда... из... из... путешествия... когда он пришел к тебе снова?

Горничная, совсем припав к полу, пролепетала:

— В первый... в первый же вечер пришел.

Каждое слово клещами сжимало сердце Жанны. Значит, в первый же вечер после возвращения в Тополя он бросил ее для этой девки. Вот почему он оставлял ее по ночам одну!

Теперь она знала достаточно и больше ничего не желала слышать. Она крикнула:

— Ступай, ступай прочь!

Розали, подавленная вконец, не шевелилась, и Жанна позвала на помощь отца:

— Уведи, убери ее.

Но тут кюре, не сказавший еще ни слова, счел своевременным вставить небольшое нравоученье:

— То, что ты сделала, дочь моя, весьма и весьма дурно; господь бог не скоро простит тебя. Вспомни, что тебе уготован ад, если ты не будешь впредь вести себя благонравно. Теперь у тебя есть ребенок, значит, надобно остепениться. Хозяйка твоя, баронесса, поможет тебе, и мы найдем тебе мужа...

Он говорил бы еще долго, но барон снова схватил Розали за плечи, поднял ее, доволлок до двери и вышвырнул в коридор, как мешок.

Когда он вернулся, он был бледнее своей дочери, а кюре продолжал

разглагольствовать:

— Что поделаешь? Все они такие в здешних местах Просто горе одно, но сладить с ними никак невозможно, и опять-таки надо иметь снисхождение к слабостям человеческой природы. Поверите ли, сударыня, каждая сначала забеременеет, а потом уж замуж выходит. — Он добавил с улыбкой: — Это вроде как бы местный обычай. — И переходя на возмущенный тон: — Даже дети берут пример со старших. Ведь сам я в прошлом году застал на кладбище двух конфирмантов, мальчика и девочку! Я говорю родителям, а они мне в ответ:» Что поделаешь, господин кюре, не мы их этим пакостям учили, не нам их и отучать!» Вот так-то, сударь! И горничная ваша не отстала от других...

Но барон, весь дрожавший от раздражения, прервал его:

— Она? Мне до нее дела нет! Меня Жюльен возмущает. Он поступил подло, и я увезу от него свою дочь.

Он шагал по комнате, кипя от негодования и взвинчивая себя все сильнее:

— Он подло обманул мою дочь! Слышите, подло! Негодяй, мерзавец, развратник! Я все ему в лицо выскажу, я ему пощечин надаю, я его убью собственными руками.

Священник, медленно заправляя себе в нос понюшку табаку, обдумывал подле плачущей баронессы, как ему выполнить свою миссию миротворца; теперь он вмешался.

— Пойдите, сударь, между нами будь сказано, он поступил, как все поступают. Много вы видели верных мужей? — И он добавил с простодушным лукавством: — Сами вы тоже, я поручусь, пошалили в свое время. Ну, сознавайтесь положила руку на сердце, правду я говорю?

Барон, пораженный, остановился перед священником, а тот продолжал:

— Ну да, и вы поступали, как другие. Может статься, и вам случалось поблудить с такой вот служаночкой. Говорю я вам, все так поступают. А жену свою вы от этого не меньше холили и любили, так ведь?

Барон застыл на месте, он был потрясен.

Ведь это правда, черт побери, что и он поступал так, и даже частенько, всякий раз, когда мог; и супружеского очага он тоже не щадил; перед смазливими горничными жены не мог устоять! И что же, он из-за этого — подлец? Почему же он так строго судит поведение Жюльена, когда свое собственное ни на миг не считал преступным?

А у баронессы хотя еще не просохли слезы, но при воспоминании о мужниных проказах на губах мелькнула тень улыбки, ибо она была из тех сентиментальных, чувствительных и благодушных натур, для которых любовные дела — неотъемлемая часть существования.

Жанна без сил лежала на спине, вытянув руки, и, глядя в пространство, мучительно думала. Ей вспоминались слова Розали, которые ранили ей душу и, точно бурав, впивались в сердце:» Я смолчала, потому что очень он мне приглянулся «.

Ей он тоже приглянулся; и только из-за этого она отдалась ему, связала себя на всю жизнь, отрезала пути всем другим надеждам, всем возможностям, всему тому неизвестному, чем богат завтрашний день. Она ринулась в этот брак, в эту бездонную пропасть, и вот очнулась в таком горе, в такой тоске, в таком отчаянии, и все потому, что он приглянулся и ей, как Розали!

Дверь распахнулась от яростного толчка. Появился взбешенный Жюльен Он встретил на лестнице всхлипывающую Розали, понял, что тут против него строят козни, что горничная, вероятно, проболталась, и пришел узнать. Но при виде священника он остановился как вкопанный

Дрожащим голосом, но с виду спокойно, он спросил:

— Что это? Что тут такое?

Барон, только что пылавший гневом, не смел ничего сказать из страха, что зять приведет доводы кюре и тоже сошлется на его собственный пример. У маменьки слезы потекли сильнее. Но Жанна приподнялась на локтях и, задыхаясь, смотрела на того, кто причинил ей столько страданий.

Она заговорила прерывистым голосом:

— А то, что мы теперь все знаем, нам известны все ваши гнусности... с тех пор, с того дня... как вы вошли в этот дом... и что у горничной ребенок от вас, как... как у меня, они будут братья...

При этой мысли горе захлестнуло ее, и она упала на подушки, иступленно рыдая.

Он стоял огорошенный и не знал, что делать, что сказать Тут опять вмешался кюре:

— Ну, ну, не надо так убиваться, милая дамочка, будьте умницей.

Он поднялся, подошел к кровати и положил свою теплую руку на лоб отчаявшейся женщины. И эта простая ласка удивительным образом смягчила ее: она сразу ощутила какую-то истому, словно эта сильная крестьянская рука, привыкшая отпускать грехи, вселять бодрость своим касанием, принесла ей таинственное умиротворение.

Толстяк, все так же стоя возле нее, произнес?

— Сударыня, надо всегда прощать. Большое горе постигло вас, но господь, в милосердии своем, вознаградил вас за него великим счастьем материнства Ребенок будет вам утешением. И во имя его я умоляю, я заклинаю вас простить господину Жюльену его проступок. Ведь это новые узы, связующие вас, это залог его верности в дальнейшем. Как можете вы сердцем жить розно с тем, чье дитя носите во чреве?

Она не отвечала, она была сломлена, истерзана, измучена вконец, не находила сил даже для гнева и обиды. Нервы ее совсем сдали, как будто их незаметно подсекли, и жизнь еле теплилась в ней.

Баронесса, решительно не умеющая помнить зло и не способная на длительное душевное напряжение, шепнула ей:

— Полно, Жанна.

Тогда кюре подвел молодого человека к постели и вложил его руку в руку жены.

При этом он прикрыл обе их руки своею, как бы соединяя их навеки, и, отбросив официальный нравоучительный тон, заметил с довольным видом:

— Ну, дело сделано; поверьте мне, так будет лучше.

VIII

Розали покинула дом, а Жанна дотягивала срок своей мучительной беременности. В душе она не ощущала радости материнства, слишком много горя обрушилось на нее. Она ожидала ребенка без нетерпения, угнетенная боязнью непредвиденных несчастий.

Незаметно подошла весна. Оголенные деревья раскачивались под порывами все еще холодного ветра, но во рвах, где догнивали осенние листья, из влажной травы пробивались первые желтые баранчики. От всей равнины, от дворов ферм, от размытых полей тянуло сыростью, пахло бродящими соками. И множество зелененьких трубочек выглядывало из бурой земли и блестело в лучах солнца.

Толстая женщина могучего телосложения заменяла Розали и поддерживала баронессу во время ее неизменных прогулок по аллее, где след ее ноги, ставшей еще тяжелее, не просыхал от слякоти.

Папенька водил под руку Жанну, отяжелевшую теперь и постоянно недомогавшую; тетя Лизон, обеспокоенная, озабоченная предстоящим событием, держала другую ее руку, в полном смятении перед тайной, которую ей самой не суждено было познать.

Так они бродили часами, почти не разговаривая между собой, а Жюльен, внезапно увлекшись верховой ездой, рыскал тем временем по окрестностям.

Ничто не нарушало их унылой жизни. Барон с женой и виконт нанесли визит Фурвилям, причем оказалось, что Жюльен успел, неизвестно каким образом, близко познакомиться с ними. Произошел также обмен официальными визитами с Бризвилями, по-прежнему жившими взаперти в своем сонном замке.

Как-то после обеда, часов около четырех, во двор дома рысью въехали два всадника — мужчина и женщина, и Жюльен в сильном возбуждении прибежал к Жанне.

— Спустись скорей, скорей, Фурвили здесь! Они приехали запросто, по-соседски,

ввиду твоего положения. Скажи, что меня нет, но я скоро вернусь. А я пойду переоденусь.

Жанна удивилась, однако сошла вниз Молодая женщина, бледная, миловидная, с болезненным лицом, лихорадочно блестящими глазами и такими блеклыми белокурыми волосами, как будто их никогда не касался солнечный луч, непринужденно представила ей своего мужа, настоящего великана, какое-то пугало с рыжими усищами. Затем она пояснила:

— Нам случалось несколько раз встречаться с господином де Ламар. Мы знаем от него, что вы хвораете, и решили, не мешкая, навестить вас без всяких церемоний, по-соседски. Впрочем, вы сами видите — мы приехали верхом. Кроме того, на днях я имела удовольствие принимать у себя вашу матушку и барона.

Она говорила с неподражаемой, изысканной простотой, Жанна сразу же была очарована и покорена ею.» Вот кто будет мне другом «, — подумала она.

Зато граф де Фурвиль казался медведем, попавшим в гостиную. Усевшись, он положил шляпу на соседний стул, некоторое время не знал, что делать с руками, упер их в колени, потом в локотники кресла и наконец, сложил пальцы, как для молитвы.

Неожиданно появился Жюльен. Жанна не верила своим глазам. Он побрился. Он был красив, элегантен и обольстителен, как в пору жениховства. Он пожал мохнатую лапу графа, который восторженно при его приходе, потом поцеловал руку графини, и ее матовые щеки порозовели, а ресницы затрепетали.

Он заговорил. Он был любезен, как прежде. Большие глаза его снова казались зеркалом любви, снова излучали ласку, а волосы, только что тусклые и жесткие, от щетки и помады легли мягкими блестящими волнами.

Когда Фурвили собрались уезжать, графиня повернулась к нему:

— Дорогой виконт, хотите в четверг покататься верхом?

И в то время как он, склонившись, бормотал:» Разумеется, сударыня «, — она взяла руку Жанны и ласковым, задушевым голосом с нежной улыбкой проговорила:

— Ну, а когда вы поправитесь, мы будем скакать по окрестностям втроем. Это будет чудесно, правда?

Ловким движением она приподняла шлейф своей амазонки, потом вспорхнула в седло с легкостью птички; а муж ее неуклюже отклонялся и, едва только сел на своего рослого нормандского коня, как прирос к нему, словно кентавр.

Когда они скрылись за углом ограды, Жюльен в полном восхищении воскликнул:

— Милейшие люди! Вот поистине полезное для нас знакомство.

Жанна, тоже довольная, сама не зная чем, отвечала:

— Графиня — прелестное создание, я уверена, что полюблю ее, но у мужа прямо зверский вид. А где ты с ними познакомился?

Он весело потирал руки.

— Я случайно встретил их у Бризвилей. Муж немного мешковат. Он занят только охотой, но зато аристократ самый настоящий.

И обед прошел почти весело, как будто затаенное счастье незаметно вошло в дом.

И больше ничего нового не произошло вплоть до последних чисел июля месяца.

Во вторник вечером, когда все сидели под платаном вокруг дощатого стола, на котором стояли две рюмки и графинчик с водкой, Жанна вдруг вскрикнула, страшно побледнела и прижала обе руки к животу. Мгновенная острая боль внезапно пронизала ее и отпустила, но минут через десять ее схватила новая, более длительная, хотя и менее резкая боль. Она с трудом добралась до дома, отец и муж почти несли ее. Короткий путь от платана до спальни показался ей нескончаемым; она стонала против воли, просила посидеть, подождать, так мучительно было ей ощущение нестерпимой тяжести в животе. Срок беременности еще не истек, роды ожидалась только в сентябре, но из страха непредвиденной случайности велели дяде Симону запрячь двуколку и мчаться за доктором.

Доктор приехал около полуночи и с первого же взгляда определил преждевременные роды.

В постели страдания Жанны несколько утихли, но теперь она испытывала жестокий

страх, полнейший упадок духа, как бы таинственное предчувствие смерти. Бывают минуты, когда она так близко от нас, что дыхание ее леденит сердце.

Спальня была полна народа, маменька задыхалась, полулежа в кресле. Барон метался во все стороны как потерянный, дрожащими руками подавал какие-то вещи, то и дело обращался к доктору. Жюльен шагал по комнате из конца в конец, озабоченный с виду, но невозмутимый в душе, а в ногах постели стояла вдова Дантю с подобающим случаю выражением лица, выражением многоопытной женщины, которую ничем не удивишь. Будучи повивальной бабкой и нанимаясь для ухода за больными и бдения над покойниками, она встречала тех, кто входит в жизнь, принимала их первый крик, впервые омывала водой детское тельце, обертывала его в первые пеленки и потом с такой же безмятежностью слушала последние слова, последний хрип, последнее содрогание тех, кто уходит из жизни, обряжала их в последний раз, обтирала уксусом их отжившее тело, окутывала его последней пеленой и так выработала в себе несокрушимое равнодушие ко всем случаям рождения и смерти.

Кухарка Людивина и тетя Лизон робко жались у дверей прихожей.

А больная время от времени слабо стонала.

В течение двух часов можно было предполагать, что роды наступят не скоро; но к рассвету боли возобновились с новой силой и почти сразу стали нестерпимыми.

Как Жанна ни стискивала зубы, она не могла сдержать крик и при этом неотступно думала о Розали, о том, что Розали не страдала совсем, почти не стонала, а ребенок ее, незаконный ребенок, появился на свет без труда и без мучений.

В глубине своей души, жалкой и смятенной, она непрерывно проводила сравнение между собой и ею; она слала проклятия богу, которого прежде считала справедливым, возмущалась непростительным пристрастием судьбы и преступной ложью тех, кто проповедует правду и добро.

Временами схватки становились так мучительны, что всякая мысль угасала в ней. Все ее силы, вся жизнь, весь разум поглощались страданием.

В минуты затишья она не могла отвести глаз от Жюльена, и другая боль — боль душевная охватывала ее при воспоминании о том дне, когда ее горничная упала на пол у этой же самой кровати с младенцем между ногами, с братом маленького существа, так беспощадно раздиравшего ей внутренности. Во всех подробностях восстанавливала она в памяти жесты, взгляды, слова мужа при виде распростертой девушки; и теперь она читала в нем так, словно мысли его отражались в движениях, угадывала ту же досаду, то же равнодушие к ней, что и к той, ту же беспечность себялюбивого мужчины, которого отцовство только раздражает.

Но тут у нее началась такая страшная боль, такая жестокая схватка, что она подумала: «Сейчас я умру. Умираю!»

Душу ее наполнило яростное возмущение, потребность кощунствовать и неистовая ненависть к мужчине, погубившему ее, и к неведомому ребенку, убивавшему ее.

Она напряглась в отчаянном усилии избавиться от этого бремени. И вдруг ей показалось, что живот ее опустел, и сразу же стихла боль.

Сиделка и врач наклонились над ней и мяли ее. Потом они вынули что-то; и вскоре приглушенный звук, уже слышанный ею, заставил ее вздрогнуть; этот жалобный плач, этот кошачий писк новорожденного вошел ей в душу, в сердце, во все ее больное, измученное тело; и бессознательным движением она попыталась протянуть руки.

Вспышка радости, порыв к счастью, только что возникшему, пронизали ее насквозь. В один миг она почувствовала, что освобождена, умиротворена и счастлива, счастлива так, как не была еще никогда. Душа и тело ее оживали, она ощущала себя матерью!

Она хотела видеть своего ребенка! У него не было волос, не было ногтей, потому что родился он раньше времени; но когда она увидела, как этот червячок шевелится, как раскрывает ротик для крика, когда она притронулась к этому недоноску, сморщенному, уродливому, живому, — ее затопила безудержная радость, ей стало ясно, что она спасена,

ограждена от отчаяния, что ей есть теперь кому отдать свою любовь и всю себя без остатка, и больше ей уж ничего не нужно.

С той минуты у нее была только одна мысль: ее ребенок. Она внезапно сделалась матерью-фанатичкой, тем более страстной, чем сильнее была она обманута в своей любви, разочарована в своих надеждах. Она требовала, чтобы колыбель все время стояла возле ее кровати, и когда ей позволили встать, просиживала по целым дням у окна около люльки и качала ее.

Она ревновала к кормилице. Когда малыш, проголодавшись, тянулся ручонками к набухшей груди в голубых жилках, а потом жадно хватал губами морщинистый коричневый сосок, она, бледнея и дрожа, смотрела на дородную, спокойную крестьянку и едва удерживалась, чтобы не отнять своего сыном не расцарапать эту грудь, которую он прожорливо сосал. Она взялась собственноручно вышивать для него пышные и вычурные наряды. Его окутывали в дымку кружев, на него надевали роскошные чепчики. Она только об этом и толковала, прерывала любой разговор, чтобы похвастать тонкой работой пеленки, нагрудника или распашонки, она не слушала, что говорили вокруг, восхищалась какой-то тряпочкой, без конца вертела ее в поднятой руке, чтобы лучше разглядеть, и вдруг спрашивала:

— Как вы думаете, пойдет к нему это?

Барон и маменька улыбались необузданности ее чувства, но Жюльен, потревоженный в своих привычках появлением этого горластого, всемогущего тирана, умаленный в своем достоинстве властелина, бессознательно завидовал этой козявке, занявшей его место в доме, и все время нетерпеливо и злобно твердил:

— До чего она надоела со своим мальчишкой.

Вскоре она в своей материнской любви дошла до такой одержимости, что просиживала ночи напролет у колыбели и смотрела, как спит малыш. Так как она изнуряла себя этим страстным и болезненным созерцанием, совсем не знала отдыха, слабела, худела, кашляла, врач предписал разлучить ее с сыном.

Она сердилась, плакала, просила, но ее мольбам не вняли. Его каждый вечер укладывали в одной комнате с кормилицей. А мать каждую ночь вставала, босиком бежала к двери, прижималась ухом к замочной скважине и слушала, спокойно ли он спит, не просыпается ли, не нужно ли ему чего-нибудь.

Один раз Жюльен, возвратившийся поздно после обеда у Фурвилей, застал ее на этом; с тех пор ее стали запирают на ключ в спальне, чтобы вынудить лежать в постели.

Крестины состоялись в конце августа. Крестным был барон, а крестной — тетя Лизон. Ребенок был наречен именами Пьер-Симон-Поль, в просторечье — Поль.

В первых числах сентября тетя Лизон уехала. Отсутствия ее никто не заметил так же, как и присутствия.

Как-то вечером, после обеда, появился кюре. Он был явно смущен, словно обременен какой-то тайной, и после долгих бесцельных речей попросил наконец баронессу и ее супруга уделить ему несколько минут для беседы с глазу на глаз.

Они не спеша прошли втроем до конца большой аллеи, оживленно при этом разговаривая. Жюльен остался наедине с Жанной, удивленный, встревоженный, раздосадованный их секретами.

Он вызвался проводить священника, когда тот распрощался, и они ушли вместе в направлении церкви, откуда слышался звон к молитве богородице.

Погода стояла свежая, почти холодная, а потому все вскоре вернулись в гостиную и дремали там потихоньку, когда Жюльен появился вдруг, весь красный и взбешенный.

С самого порога он закричал тестю и теще, не думая о присутствии Жанны:

— Вы не в своем уме, что ли? Швырять двадцать тысяч франков этой девке?

От изумления никто не ответил ни слова. Он продолжал злобно орать:

— Всякой глупости есть предел. Вы нас по миру пустите!

Тогда барон, овладев собой, попытался остановить его:

— Замолчите! Вспомните, что вас слушает жена.

Но Жюльен не помнил себя от ярости.

— Плевать я хотел на это; да она и сама все знает. Вы ее обкрадываете.

Жанна смотрела на него в изумлении и ничего не могла понять. Наконец она пролепетала:

— Что такое, что случилось?

Тогда Жюльен повернулся к ней и призвал ее в свидетели, словно соучастницу, вместе с ним терпящую убыток. Он без обиняков рассказал ей о тайном сговоре сосватать Розали и дать за ней барвильскую ферму, которой цена по меньшей мере двадцать тысяч франков. Он все повторял:

— Твои родители с ума спятили, мой друг, совсем спятили! Двадцать тысяч! Двадцать тысяч франков! Да где у них голова! Двадцать тысяч франков незаконнорожденному!

Жанна слушала без волнения и без гнева, сама дивилась своему спокойствию, но ей теперь было безразлично все, что не касалось ее ребенка.

Барон только тяжело дышал и не находил слов для ответа. Но под конец и он вспылил, затопал ногами и закричала

— Да опомнитесь же! Что вы говорите? Этому названия нет. По чьей вине нам приходится давать приданое этой девушке? От кого у нее ребенок? А теперь вы рады бы его бросить!

Озадаченный резкостью барона, Жюльен пристально посмотрел на него и заговорил уже более сдержанным тоном;

— Достаточно было бы и полутора тысяч. У всех у них бывают дети до замужества. От кого — это к делу не относится. Если же вы отдадите одну из своих ферм стоимостью в двадцать тысяч франков, вы не только нанесете нам ущерб, но еще и придадите делу ненужную огласку; а вам бы следовало, по крайней мере, подумать о нашем имени и положении.

Он говорил строгим тоном, как может говорить человек, уверенный в своей правоте и резонности своих доводов. Барон совершенно растерялся от такого неожиданного выпада. Тогда Жюльен, почувствовав свое преимущество, заключил:

— К счастью, не все еще потеряно. Я знаю парня, который согласен жениться на ней, он славный малый, с ним можно поладить. Я за это берусь.

И он тотчас же вышел, должно быть, боясь продолжения спора и обрадовавшись общему молчанию, которое счел за согласие.

Едва он скрылся, как барон закричал вне себя от изумления и негодования:

— Это уж слишком, нет, это уж слишком!

Но Жанна взглянула на растерянное лицо отца и вдруг залилась смехом, своим прежним звонким смехом, каким смеялась, бывало, над чем-нибудь забавным. При этом она повторяла:

— Папа, папа, слышал ты, как он говорил:» Двадцать тысяч франков! «

И маменька, одинаково скорая на смех и на слезы, припомнила свирепую мину зятя, его возмущенные вопли и бурный протест против того, чтобы давали соблазненной им девушке не ему принадлежащие деньги, обрадовалась к тому же веселому настроению Жанны и вся затряслась, захлебнувшись от хохота, даже слезы выступили у нее на глазах. Тут, поддавшись их примеру, расхохотался и барон; и все трое смеялись до изнеможения, как в былые счастливые дни.

Когда они поуспокоились, Жанна заметила с удивлением:

— Странно, меня это ничуть не трогает теперь. Я смотрю на него, как на чужого. Мне даже не верится, что я его жена. Вы видите, я даже смеюсь над его... его... бестактностью.

И, сами не понимая почему, они расцеловались, еще улыбающиеся и растроганные.

Но два дня спустя, после завтрака, как только Жюльен ускакал верхом, в калитку проскользнул рослый малый лет двадцати двух — двадцати пяти, одетый в новенькую синюю вытюженную блузу со сборчатыми рукавами на манжетах; он, вероятно, караулил с

утра, а теперь пробрался вдоль куяровской ограды, обогнул дом и, крадучись, приблизился к барону и дамам, сидевшим, как обычно, под платаном.

При виде их он снял фуражку и подошел, робея и отвешивая на ходу поклоны.

Очутившись достаточно близко, чтобы его могли слышать, он забормотал:

— Мое почтение господину барону, барыне и всей компании.

Но так как никто не ответил ему, он объявил:

— Это я и есть — Дезире Лекок.

Имя его ничего не говорило, и барон спросил:

— Что вам надобно?

Парень совсем растерялся от необходимости объяснить свое дело. Он заговорил с запинкой, то опуская глаза на фуражку, которую мял в руках, то поднимая их к коньку крыши:

— Тут господин кюре мне словечко замолвил насчет этого самого дельца...

И он умолк из страха выболтать слишком много и повредить своим интересам.

Барон ничего не разобрал и спросил снова:

— Какое дельце? Я ничего не знаю.

Тогда парень понизил голос и решился выговорить:

— Да насчет вашей служанки, Розали-то...

Тут Жанна поняла, встала и ушла с ребенком на руках. А барон произнес:» Подойдите «, — и указал на стул, с которого поднялась его дочь.

Крестьянин сразу же уселся, пробормотав:

— Покорно благодарю.

Потом выжидательно замолчал, как будто ему больше нечего было сказать. После довольно длительной паузы он собрался с духом и заявил, подняв взгляд к голубому небу:

— Хороша погодка по нынешней поре. И земле польза — озимые-то пойдут теперь. —

И умолк снова

Барон потерял терпение; он прямо и резко поставил вопрос:

— Значит, вы женитесь на Розали?

Крестьянин сразу же насторожился оттого, что ему не дали времени пустить в ход всю его нормандскую хитрость. И поспешил дать отпор:

— Это смотря как. Может, и да, а может, и нет.

Но барона раздражали эти увертки.

— Черт побери! Отвечайте прямо, вы затем пришли или нет? Вы женитесь или нет?

Крестьянин, озадаченный вконец, смотрел теперь себе под ноги.

— Коли так будет, как господин кюре говорит, — женюсь, а коли так, как господин Жюльен, — не женюсь нипочем.

— А что вам говорил господин Жюльен?

— Господин Жюльен говорил, что я получу полторы тысячи франков; а господин кюре сказал, что двадцать тысяч; так за двадцать тысяч я согласен, а за полторы — ни боже мой.

Тут баронессу, все время полулежавшую в кресле, начал разбирать смех при виде перепуганной физиономии парня. Он неодобрительно покосился на нее, не понимая, чему она смеется, и ждал ответа.

Барону была неприятна эта торговля, и он решил покончить с ней:

— Я сказал господину кюре, что барвильская ферма будет пожизненно принадлежать вам, а потом перейдет к ребенку. Цена ей двадцать тысяч. Я от своих слов не отступаюсь. Так слажено дело — да или нет?

Крестьянин ухмыльнулся подобострастно и удовлетворенно и вдруг стал говорлив:

— Ну, коли так, я отказываться не стану. Только в этом и была загвоздка. А коли так, я не против. Когда мне господин кюре словечко замолвил, я сразу согласился. Уж мне и господину барону услужить хотелось. Он-то в долгу не останется, — так я про себя думал. И верно ведь — одолжишь человека, а потом, глядишь, он тебе и оплатит. А только тут ко мне заглянул господин Жюльен, и оказалось, что денег-то всего полторы тысячи. Я подумал про

себя:» Пойду разведу «, — вот и пришел. Я, понятно, не сомневался, только хотел знать доподлинно. Счет дружбе не помеха — верно я говорю, господин барон?

Чтобы прервать его, барон спросил:

— Когда вы думаете венчаться?

Тут крестьянин снова оробел и смешался. Наконец он нерешительно выговорил:

— А как бы сперва бумагу выправить?

На этот раз барон вспылил:

— Да черт вас возьми, наконец. Ведь получите же вы брачный контракт. Лучшей бумаги быть не может.

Крестьянин заупрямился:

— А все-таки не худо бы нам покамест составить бумагу, она делу не помешает.

Барон встал, чтобы положить этому конец:

— Сию же минуту отвечайте: да или нет? Если раздумали, скажите прямо, у меня есть другой на примете.

Страх конкуренции поверг хитрого нормандца в полное смятение. Он сразу решился и протянул руку, как при покупке коровы:

— По рукам, господин барон, слажено дело. Кто отступится, тому грех.

Ударили по рукам, а затем барон крикнул:

— Людивина!

Кухарка выглянула из окна.

— Принесите бутылку вина.

Сделку спрыснули, и парень удалился более веселым шагом.

Жюльену ничего не сказали об этих переговорах. Контракт заготовили в величайшей тайне, а затем, после оглашения, в один из понедельников состоялась свадьба.

В церковь за молодыми соседка несла младенца, как верный залог благосостояния. И никто в округе не удивился. Все только позавидовали Дезире Лекоку.» Он в сорочке родился «, — говорили с лукавой усмешкой, но без тени осуждения.

Жюльен устроил дикую сцену, чем сократил пребывание тестя и тещи в Тополях. Жанна рассталась с ними без большой грусти, потому что Поль стал для нее неисчерпаемым источником радостей.

IX

Когда Жанна совсем оправилась от родов, решено было отдать визит Фурвилям, а также побывать у маркиза де Кутелье.

Жюльен приобрел с торгов новый экипаж, фаэтон для одноконной упряжки, чтобы можно было выезжать два раза в месяц.

В один ясный декабрьский день фаэтон заложили и после двухчасовой езды спустились в лощину, лесистую по склонам и распаханную понизу.

Вскоре пашни сменились лугами, а луга — болотами, поросшими высоким, сухим в это время года камышом с шуршащими длинными листьями, похожими на желтые ленты.

Внезапно за крутым поворотом долины показался господский дом поместья Ла-Врийет. С одной стороны он опирался на лесистый склон, а с другой своим подножием уходил в обширный пруд; на противоположном берегу, вверх по другому склону долины, раскинулся еловый лес.

Пришлось проехать по старинному подъемному мосту и миновать высокий портал эпохи Людовика XIII, чтобы попасть на парадный Хвор, к изящному замку той же эпохи, с кирпичной облицовкой и башенками по бокам, крытыми шифером.

Жюльен объяснял Жанне каждую деталь здания, как свой человек, знающий его досконально. Он хвастал им, восторгался его красотами.

— Ты взгляни на портал! А дом — какое великолепие! Противоположный фасад весь стоит на пруду, а лестница — прямо царственная, доходит до самой воды; у нижних

ступенек привязаны четыре лодки: две для графа, две для графини. Вот там, направо, видишь, ряд тополей; там кончается пруд; отсюда берет начало река, которая течет до Фекана. В этой местности полно дичи. Граф — заядлый охотник. Вот уж настоящее барское поместье!

Входные двери распахнулись, и показалась бледная стройная графиня; она шла навстречу гостям, улыбаясь, в ниспадающем до земли платье со шлейфом, точно владелица средневекового замка. Казалось, это была сама Дама озера, созданная для такого сказочного дворца.

В зале было восемь окон; четыре из них выходили на пруд и на черный бор, поднимавшийся по холму напротив.

От темных тонов зелени пруд казался особенно глубоким, суровым и мрачным; а когда дул ветер, стенания деревьев звучали, как голос болот.

Графиня протянула Жанне обе руки, словно другу детства, потом усадила ее, села сама рядом на низенькое кресло, а Жюльен, к которому за последние пять месяцев вернулась вся его светскость, болтал и улыбался по-дружески непринужденно.

Графиня и он говорили о совместных прогулках верхом. Она посмеивалась над его посадкой, называла его «кавалер Спотыкач», он тоже смеялся и величал ее «королева амазонок». Под окном раздался выстрел, и Жанна вскрикнула от неожиданности. Это граф убил чирка.

Жена сейчас же позвала его. Послышался плеск весел, стук лодки о камень, и появился он сам, великан в высоких сапогах; следовавшие за ним две собаки, насквозь мокрые и такие же рыжие, как он, тотчас улеглись на ковер у двери.

Дома он явно чувствовал себя вольнее и был искренне рад гостям. Он велел подбросить дров в камин, принести мадеры и бисквитов, потом вскричал вдруг:

— Да что я, вы непременно отобедаете с нами!

Жанна, неотступно думавшая о своем ребенке, попыталась отказаться; он настаивал, а когда она продолжала возражать, Жюльен резким жестом выразил свое недовольство. Она побоялась, что он проявит свой злобный, сварливый нрав, и согласилась, страдая в душе, что не увидит Поля до утра.

День прошел чудесно. Сперва ходили смотреть родники. Они били у подножия мшистого утеса и наполняли прозрачный водоем, где вода все время словно кипела; затем совершили прогулку в лодке по водяным тропам, по настоящим просекам, проложенным в зарослях сухого камыша. Граф сидел на веслах, между двумя своими собаками, которые настороженно принюхивались; от каждого взмаха весел большая лодка рывком подвигалась вперед. Жанна временами окунала руку в холодную воду и наслаждалась студеной свежестью, пробежавшей от пальцев к самому сердцу. На корме Жюльен и графиня, закутанная в шаль, все время улыбались улыбкой счастливых людей, которым от полноты счастья нечего сказать.

Надвигался вечер, ледяные порывы северного ветра пробежали по сухим камышам. Солнце скрылось за елями; и от одного взгляда на покрасневшее небо, все в алых прихотливых облачках, становилось холодно.

После прогулки вернулись в огромную залу, где пылал яркий огонь. Ощущение тепла и уюта сразу же настраивало на веселый лад. И граф игриво подхватил жену своими могучими руками, поднес, точно ребенка, к самым своим губам и поцеловал в обе щеки звонкими поцелуями довольного добряка.

А Жанна с улыбкой смотрела на благодушного великана, который прослыл людоедом только из-за страшных усов; при этом она думала: «Как часто мы ошибаемся в людях». И, почти непроизвольно переведя взгляд на Жюльена, она увидела, что он стоит в дверях смертельно бледный и не сводит глаз с графа. Встревожившись, она подошла к мужу и шепотом спросила его:

— Тебе нездоровится? Что с тобой?

— Ничего, оставь меня в покое, я прозяб, — ответил он сердито.

Когда все перешли в столовую, граф попросил разрешения впустить собак; они сразу же уселись справа и слева от хозяина. Он поминутно бросал им по куску и гладил их длинные шелковистые уши. Собаки вытягивали шеи, виляя хвостами, вздрагивая от удовольствия.

После обеда Жанна и Жюльен собрались уезжать, но г-н де Фурвиль не пустил их, желая показать им рыбную ловлю при факелах.

Он вывел их и графиню на крыльцо, выходящее на пруд; сам же сел в лодку вместе со слугой, который держал рыболовную сеть и зажженный факел. Ночь была ясная и холодная, а небо — все в золотой россыпи звезд.

От факела ползли причудливые и зыбкие полосы по воде, плясали беглые огоньки на камышах и падал свет на высокую стену елей. И вдруг, когда лодка сделала поворот, на освещенной опушке леса выросла гигантская фантастическая тень, тень человека. Голова поднималась выше деревьев, терялась где-то в небе, а ноги уходили в пруд. Немного погодя гигант воздел руки, как будто намереваясь схватить звезды. Огромные руки его, едва поднявшись, сейчас же опустились; и вслед за тем раздался легкий всплеск воды.

Лодка незаметно сделала еще поворот, и громадный призрак как будто побежал вдоль леса, озаренного подвижным светом; затем он скрылся за невидимым горизонтом и вдруг показался снова — на фасаде дома, уже менее грандиозный, но более четкий, все с теми же странными движениями.

И густой бас графа крикнул:

— Восемь штук поймал, Жильберта!

По воде заплескали весла. Гигантская тень возвышалась теперь неподвижно на стене, но становилась все ниже и тоньше; голова ее словно опускалась, а туловище худело; и когда г-н де Фурвиль поднялся по ступенькам крыльца, по-прежнему в сопровождении слуги с огнем, тень, повторявшая все его жесты, сократилась до его размеров.

В сетке у него билось восемь крупных рыб.

Когда Жанна и Жюльен ехали домой, укутанные в плащи и пледы, которыми их снабдили, у Жанны вырвалось почти невольно:

— Какой славный человек этот великан!

А Жюльен, правивший лошадей, возразил:

— Да, но только он не умеет сдерживать свои чувства при людях.

Через неделю они поехали к Кутелье, которые считались первой знатью провинции. Их поместье Реминиль примыкало к городку Кани.» Новый» замок, выстроенный при Людовике XIV, был скрыт великолепным парком с высокой оградой. На холме виднелись развалины «старого» замка. Ливрейные лакеи проводили гостей в пышную залу. Посредине, на постаменте в виде колонны, стояла огромная чаша севрского завода, а на цоколе красовалось под стеклом собственноручное письмо короля, в котором маркизу Леопольду-Эрве-Жозефу-Жерме де Варневиль де Рольбоск де Кутелье предлагалось принять от монарха этот дар.

Жанна и Жюльен рассматривали королевский подарок, когда появились маркиз и маркиза. Она была напудрена, любезна по обязанности и жеманна из желания казаться благосклонной. Он, толстяк с седыми волосами, зачесанными кверху, каждым жестом, голосом, манерами выражал надменность, свидетельствующую о его высоком положении.

Они были из тех ревнителей этикета, у которых и ум, и чувства, и речи всегда как на ходулях.

Они говорили одни, не слушали ответов, улыбались равнодушной улыбкой и всегда как будто выполняли налагаемую на них высоким происхождением обязанность вежливо принимать окрестных захудалых дворян.

Жанна и Жюльен, совсем потерявшись, силились понравиться, боялись засидеться, не знали, как уйти; но маркиза сама положила конец их визиту просто и естественно, вовремя остановив беседу, как прекращает аудиенцию учтивая королева.

На обратном пути Жюльен сказал:

— Если ты не возражаешь, мы на этом покончим с визитами. Мне лично вполне

достаточно Фурвилей.

И Жанна согласилась с ним.

Медленно тянулся декабрь, самый темный из месяцев, словно черная дыра в году. Возобновилась прошлогодняя замкнутая жизнь, но Жанна не скучала, она была постоянно занята Полем, зато Жюльен смотрел на него косо, беспокойным и недовольным взглядом.

Нередко мать, держа малыша на руках и лаская с той исступленной нежностью, какая бывает свойственна матерям, протягивала его отцу и говорила:

— Да поцелуй же сыночка, можно подумать, что ты его не любишь.

Он с брезгливым видом едва касался губами лысой головки ребенка и при этом весь выгибался дугой, чтобы скрюченные и непрестанно шевелящиеся ручонки не дотронулись до него. И сразу же уходил, как будто его гнало отвращение.

Время от времени к обеду приходили мэр, доктор и кюре; время от времени приезжали Фурвили, с которыми завязывались все более близкие отношения.

Графа явно тянуло к Полю. Он не спускал его с колен ни на минуту, иногда по целым вечерам. Он бережно брал его своими огромными ручищами, щекотал ему кончик носа своими длинными усами, а потом целовал его в страстном, почти материнском порыве. Он был неутешен, что его брак остается бесплодным.

Март стоял ясный, сухой и почти теплый. Графиня Жильберта напомнила о верховых прогулках вчетвером. Жанне немного наскучило бесконечное однообразие долгих вечеров, долгих ночей, долгих дней, и она радостно ухватилась за этот план; целую неделю она с удовольствием мастерила себе амазонку.

Затем начались прогулки. Ездили всегда попарно: графиня с Жюльеном впереди, а граф с Жанной в ста шагах позади; последние мирно беседовали, как два друга, потому что сродство их честных душ и бесхитростных сердец породило между ними настоящую дружбу; а те двое часто шептались, порывисто хохотали, внезапно взглядывали друг на друга, словно хотели сказать глазами то, чего не выговаривали губы, и вдруг пускали лошадей в галоп, стремясь скрыться, ускакать подальше, как можно дальше.

С некоторых пор Жильберта стала раздражительной. Ее сердитый голос доносился с дуновением ветра до слуха двух отставших всадников. Тогда граф улыбался и говорил Жанне:

— Жена у меня с характером.

Однажды вечером, на обратном пути, когда графиня то подгоняла свою кобылу, прищпоривая ее, то осаживала рывком, граф и Жанна несколько раз слышали, как Жюльен предостерегал ее:

— Берегитесь, говорю я вам, берегитесь, — она понесет.

— И пускай, не ваше дело, — ответила наконец Жильберта таким звонким и резким голосом, что слова отчетливо прозвучали в пространстве и словно повисли в воздухе.

Лошадь вставала на дыбы, лягалась, фыркала. Наконец забеспокоился и граф и крикнул во всю силу своих могучих легких:

— Жильберта, осторожнее!

Тогда, словно назло, в припадке той нервозности, когда женщине нет удержу, она наотмашь ударила животное хлыстом между ушей, и лошадь, рассвирепев, взвилась на дыбы, забила в воздухе передними ногами, опустилась, сделала огромный прыжок и ринулась вперед во весь опор.

Сперва она пересекла луг, потом помчалась по пашням, разбрасывая комья тучной сырой земли; неслась она так стремительно, что вскоре почти нельзя было различить ни лошади, ни всадницы.

Жюльен, опешив, застыл на месте и только кричал отчаянно:

— Графиня! Графиня!

Но тут у графа вырвалось что-то вроде рычания, и, пригнувшись над шеей грузного жеребца, он броском всего тела пустил его таким аллюром, подстрекая, подгоняя, возбуждая его криком, хлыстом, шпорами, что казалось, будто огромный всадник несет между ногами

тяжелого коня и поднимает его на воздух, чтобы улететь с ним. Они скакали, мчались с непостижимой быстротой, и Жанна видела, как там, вдаль, обе фигуры, жены и мужа, летели, летели, уменьшались, бледнели, исчезали, словно две птицы, когда, догоняя друг друга, они теряются, тонут где-то на горизонте.

Тут к ней подъехал Жюльен, по-прежнему шагом, сердито ворча про себя:

— Какая ее муха укусила?

И оба поехали вслед за четой, скрывшейся в извилине равнины

Через четверть часа они увидели, что Фурвили возвращаются, и вскоре съехались с ними.

Граф, красный, потный, смеющийся, довольный, торжествующий, железной хваткой держал дрожавшую лошадь жены. А Жильберта, бледная, со страдальчески искаженным лицом, опиралась одной рукой о плечо мужа, как будто боялась лишиться чувств.

В этот день Жанна поняла, что граф любит беззаветно.

Весь следующий месяц графиня была весела, как никогда. Она еще чаще приезжала в Тополя, беспрестанно смеялась, с порывистой нежностью целовала Жанну. Казалось, некое таинственное очарование сошло на ее жизнь. Муж ее был в восторге, не сводил с нее глаз, с удвоенной страстью старался каждую минуту коснуться ее руки, платья.

Однажды вечером он признался Жанне:

— У нас сейчас счастливая полоса. Никогда Жильберта не была так ласкова. Она больше не бывает в дурном настроении, не сердится. Я чувствую, что она меня любит. Раньше я в этом не был уверен.

Жюльен тоже переменялся, повеселел, не раздражался, как будто дружба двух семей принесла мир и радость в каждую из них.

Весна выдалась на редкость ранняя и жаркая.

От теплого утра до тихого, мягкого вечера солнце согревало всходы на всей поверхности земли. Это был стремительный, дружный и мощный расцвет всех почек, такой неудержимый напор соков, такая жажда возрождения, какую природа проявляет порой, в особо удачные годы, когда можно поверить в обновление мира

Жанну смутно волновало это брожение жизненных соков. Она испытывала мгновенную истому при виде цветка в траве, переживала долгие часы сладостной грусти, мечтательной неги.

А иногда ею овладевали умиленные воспоминания о первой поре ее любви; не то чтобы в сердце у нее возродилось чувство к Жюльену, нет, с этим было покончено, покончено навсегда; но вся плоть ее от ласки ветерка, от ароматов весны волновалась и тянулась навстречу какому-то незримому и нежному призыву.

Ей нравилось быть одной, впитывать солнечное тепло, всем существом воспринимать ощущения смутного и бездумного, тихого блаженства.

Однажды утром в минуты такой полудремы перед ней возникло видение солнечной прогалины посреди темной листвы в рощице у Этрета. Там впервые она ощутила трепет от близости человека, любившего ее тогда; там впервые он шепотом высказал робкое желание сердца; и там же ей показалось, что перед ней внезапно открылось светлое будущее ее мечтаний.

И ей захотелось повидать эту рощу, совершить туда некое сентиментальное и суеверное паломничество, словно посещение того места должно было как-то изменить ход ее жизни.

Жюльен уехал с рассвета, не сказав ей куда. И вот она велела оседлать белую лошадку Мартенов, на которой иногда ездила теперь, и отправилась в путь.

День был теплый, ясный и тихий: казалось, ничто не шелохнется, ни одна травка, ни один листок; все словно замерло до скончания веков, как будто ветер испустил дух. Даже насекомые и те, казалось, исчезли.

Жгучий и властный покой неощутимо, в золотой дымке, исходил от солнца; и Жанна блаженно грезила под неторопливый шаг лошади. Временами она поднимала глаза и следила

за крохотным белым облачком величиной с пушинку, за клочком пара, одиноко повисшим, забытым, застрявшим там, вверху, посреди синего неба.

Она спустилась в долину, выходящую к морю между высокими скалистыми сводами, которые называются «Воротами Этрета» и не спеша добралась до роши. Сквозь молодую листву свет так и лился потоками. Жанна рыскала по узким тропинкам, искала и не могла найти заветное место.

Но вдруг, пересекая длинную дорожку, она увидела в самом ее конце двух лошадей, привязанных к дереву, и сразу же узнала их: это были лошади Жильберты и Жюльена. Одиночество уже слегка тяготило ее; она обрадовалась такой неожиданной встрече и пустила свою кобылку рысью. Добравшись до двух терпеливо ожидавших, словно привычных к долгим стоянкам коней, она стала звать. Никто не откликнулся.

Дамская перчатка и два хлыста валялись на примятой траве. Значит, они сидели здесь, а потом оставили лошадей и ушли.

Она прождала четверть часа, двадцать минут, удивляясь и не понимая, что такое они могут делать. Так как она спрыгнула с лошади и теперь стояла неподвижно, прислонясь к стволу дерева, две птички, не заметив ее, опустились в траву рядом с ней. Одна из них суетилась, прыгала вокруг второй, топорщила крылья, кивала головкой и чирикала; и вдруг они совокупились.

Жанна была поражена, словно не знала, что это бывает; потом подумала: «Да, правда, теперь ведь весна». А потом другая мысль, догадка, возникла у нее. Она снова посмотрела на перчатку, на хлысты, на оставленных лошадей и вдруг стремительно прыгнула в седло с одним неудержимым желанием бежать прочь.

Обратно в Тополя она скакала галопом. При этом она лихорадочно думала, соображала, связывала факты, сопоставляла разные обстоятельства. Как она не догадалась раньше? Как она не видела ничего? Как не поняла причину отлучек Жюльена, возврат былого щегольства и, наконец, смягчение его нрава? Вспоминала она также внезапные нервные вспышки Жильберты, ее преувеличенную нежность, то блаженное состояние, в котором она жила с недавних пор, на радость графу.

Жанна придержала лошадь, потому что ей надо было серьезно подумать, а быстрый аллюр рассеивал ее мысли.

Когда прошло первое волнение, сердце ее успокоилось, в нем не было ни ревности, ни злобы — одно лишь презрение. Она почти не думала о Жюльене; в нем ее ничто больше не удивляло, но двойное предательство графини, ее подруги, возмущало ее. Значит, все на свете коварны, лживы, двоедушны? И слезы навернулись ей на глаза. Иллюзии свои оплакиваешь порой так же горько, как покойников.

Однако она решила притвориться, будто ничего не знает, закрыть свою душу для недолговечных привязанностей, любить только Поля и родителей, а остальных терпеть невозмутимо.

Вернувшись, она тотчас бросилась к сыну, унесла его в свою комнату и, как безумная, чуть не час безостановочно целовала его.

Жюльен возвратился к обеду, обворожительный и улыбающийся, исполненный благожелательства. Он спросил:

— Разве папа и маменька не приедут в нынешнем году?

Она так была тронута его вниманием, что почти простила ему открытие, которое сделала в лесу; и вдруг ею овладело страстное желание видеть двух самых дорогих ей после Поля людей; она провела целый вечер за письмом к ним, умоляя их приехать поскорее.

Они назначили свой приезд на двадцатое мая. А было всего седьмое число.

Она поджидала их со все возрастающим нетерпением, как будто, кроме дочерней привязанности, у нее появилась потребность прильнуть сердцем к благородным сердцам, открыть душу чистым, не тронутым подлостью людям, чья жизнь и все поступки, все помыслы, все желания всегда были честны.

Именно сейчас она чувствовала себя такой одинокой посреди всех этих слабодушных;

и хотя она как-то сразу научилась притворяться, хотя она встречала графиню с протянутой рукой и с улыбкой на губах, но в ней все росло, заполняя ее, ощущение пустоты и презрения к людям; и каждый день мелкие события местной жизни увеличивали в ее душе гадливость и неуважение к человеческой породе.

Дочка Куяров родила ребенка, а свадьба только еще предстояла. Служанка Мартенов, сирота, была беременна; молоденькая, пятнадцатилетняя соседка была беременна; бедная вдова, хромя и грязная, которую за вопиющую нечистоплотность прозвали «Помойкой», была беременна.

То и дело доходили слухи о новой беременности или о любовных шашнях какой-нибудь девушки, или замужней женщины, матери семейства, или же зажиточного, почтенного фермера.

Эта буйная весна, очевидно, расшевелила жизненные соки не только, в растениях, но и в людях.

А Жанна не знала больше трепета рано угасших чувств, только разбитым сердцем и чувствительной душой отзывалась на теплые и плодоносные веяния весны, только грезила в бесстрастном возбуждении, увлеченная мечтами, недоступная плотским вожделениям, и потому ее изумляло, ей претило, ей было ненавистно это мерзкое скотство.

Совокупление живых существ возмущало ее теперь как нечто противоестественное; и Жильберте она ставила в укор не то, что та отняла у нее мужа, — она ставила ей в укор самый факт падения в эту вселенскую грязь.

Ведь она-то не принадлежала к простонародью, которым управляют низменные инстинкты. Как же могла она уподобиться этим тварям?

В самый день приезда родителей Жюльен еще усугубил ее отвращение, весело рассказав, как нечто вполне естественное и забавное, что местный булочник услышал шорох у себя в печи, как раз когда не было выпечки, и думал поймать там бродячего кота, а застал свою жену, которая занималась отнюдь не хлебопечением.

И он добавил:

— Булочник закрыл заслонку; они бы там задохнулись, если бы сынишка булочника не позвал соседей: он видел, как мать его залезла туда с кузнецом.

И Жюльен смеялся, повторяя:

— Вот озорники-то — накормили нас хлебом любви! Чем не новелла Лафонтена?

После этого Жанна не могла прикоснуться к хлебу.

Когда почтовая карета остановилась у крыльца и показалось радостное лицо барона, в душе и в сердце молодой женщины поднялось такое волнение, такой бурный порыв любви охватил ее, какого она еще не испытывала.

Но при виде маменьки она была до того потрясена, что едва не лишилась чувств. За эти шесть зимних месяцев баронесса постарела на десять лет. Ее одутловатые щеки, дряблые и отвислые, побагровели, как будто налились кровью; глаза угасли; и двигаться она могла, только когда ее с двух сторон поддерживали под руки; тяжелое дыхание ее стало хриплым и таким затрудненным, что окружающим было мучительно и жутко слышать его.

Барон видел ее каждый день и не замечал, до какой степени она сдала; а когда она жаловалась на постоянное удушье и возрастающее ожирение, он отвечал:

— Да что вы, дорогая, сколько я вас помню, вы всегда были такой.

Жанна проводила родителей в их спальню и убежала к себе, чтобы выплакать свое смятение и отчаяние. Потом она пошла поговорить с отцом и бросилась к нему на грудь, вся в слезах:

— Боже, как мама изменилась? Что с ней, скажи, что с ней?

Он очень удивился:

— Ты находишь? Что ты? Тебе показалось. Я ведь с ней неотлучно и могу тебя уверить, что ей ничуть не хуже, чем всегда.

Вечером Жюльен сказал жене:

— Знаешь, твоя мать совсем плоха. Мне кажется, она не долго протянет.

А когда Жанна зарыдала, он обозлился:

— Да перестань ты, я же не говорю, что она при смерти. Ты всегда все преувеличиваешь до безумия. Она изменилась, только и всего, это понятно в ее годы.

Через неделю она успокоилась и привыкла к перемене в наружности матери и, вероятно, постаралась заглушить свои страхи, как мы заглушаем и отмечаем всегда, из бессознательного эгоизма, из естественной потребности в душевном покое, нависшие над нами опасения и тревоги.

Баронесса передвигалась через силу и гуляла теперь только полчаса в день. Пройдя всего один раз «свою» аллею, она больше не могла пошевелиться и просилась посидеть на «своей» скамейке. А иногда она не была в состоянии даже доплестись до конца и говорила:

— На сегодня довольно: от моей гипертрофии у меня совсем подкашиваются ноги.

Она почти не смеялась и только улыбалась тому, над чем бы хохотала до упаду в прошлом году. Но зрение у нее сохранилось превосходное, и она по целым дням перечитывала «Коринну» или «Размышления» Ламартина; потом требовала, чтобы ей подали ящик с сувенирами. И, выложив к себе на колени старые, милые ее сердцу письма, она ставила ящик на стул возле себя и одну за другой укладывала туда обратно свои «реликвии», внимательно пересмотрев каждую из них. А когда она бывала одна, совсем одна, она целовала некоторые из писем, как целуешь тайком волосы дорогих покойников.

Иногда Жанна входила и видела, что она плачет, плачет скорбными слезами. она. Что с тобой, маменька? — испуганно спрашивала

И баронесса глубоко вздыхала, а потом отвечала:

— Это от моих реликвий... ворошишь то, что было прекрасно и что прошло! И люди, о которых давно уже не думалось, напоминают вдруг о себе. Так и кажется, будто видишь и слышишь их, и это страшно волнует. Когда-нибудь и ты это испытаешь.

Если барон заставал их в такие грустные минуты, он шептал дочери:

— Жанна, душенька моя, верь мне, жги письма, все письма — материнские, мои, все решительно. Ничего нет ужаснее, как на старости лет окунуться в свою молодость.

Но Жанна тоже хранила свою переписку и готовила себе «ящик с реликвиями», подчиняясь, при полном отсутствии сходства с матерью, наследственному тяготению к сентиментальной мечтательности.

Через несколько дней барону потребовалось отлучиться по делам, и он уехал.

Погода стояла чудесная. Горящие звездами темные ночи шли на смену тихим сумеркам, ясные вечера — сияющим дням, сияющие дни — ослепительным зорям. Маменька вскоре почувствовала себя бодрее, а Жанна позабыла амуры Жюльена и вероломство Жильберты и была почти счастлива. Все вокруг цвело и благоухало; и неизменно спокойное необъятное море с утра до вечера сверкало на солнце.

Как-то среди дня Жанна взяла на руки ребенка и пошла погулять в поле. Она смотрела то на сына, то на придорожную траву, пестревшую цветами, и млела от счастья. Каждую минуту целовала она Поля и страстно прижимала к себе. А когда на нее веяло свежим запахом лугов, она изнемогала, замирала в беспредельном блаженстве. Потом она задумалась о будущем сына. Кем он станет? То она желала, чтобы он стал большим человеком, высокопоставленным и знаменитым. То предпочитала, чтобы он остался безвестным и жил подле нее, заботливый и нежный, чтобы объятия его всегда были раскрыты для мамы. Когда она любила его эгоистичным материнским сердцем, ей хотелось сохранить его для себя, только для себя; когда же она любила его пылким своим разумом, она мечтала, что он займет достойное место в мире.

Она села у обочины и принялась смотреть на него. Ей казалось, что она никогда его не видела. И вдруг ее поразила мысль, что этот маленький человечек станет большим, будет ступать твердым шагом, обрастет бородой и говорить будет басистым голосом.

Кто-то звал ее издалека. Она подняла голову. К ней бежал Мариус. Она решила, что ее ждут гости, и поднялась, недовольная помехой. Но мальчуган мчался со всех ног, а когда был уже близко, крикнул:

— Сударыня, баронессе плохо.

Словно струйка ледяной воды спустилась у нее вдоль спины, и она побежала домой, не помня себя.

Уже издали ей было видно, что под платаном толпится народ. Она бросилась туда, люди расступились, и она увидела, что маменька лежит на земле и под голову ей подложены две подушки. Лицо у нее почернело, глаза закрыты, а грудь, тяжело вздымавшаяся двадцать лет, не шевелится. Кормилица выхватила ребенка из рук Жанны и унесла его.

— Что случилось? Как она упала? — растерянно спрашивала Жанна. — Надо послать за доктором.

Обернувшись, она увидела кюре, которого кто-то успел уведомить. Он предложил свои услуги, засуетился, засучив рукава сутаны. Но ни уксус, ни одеколон, ни растирания не помогали.

— Надо ее раздеть и уложить, — сказал священник.

Тут подоспели фермер Жозеф Куяр, дядюшка Симон и Людивина. С помощью аббата Пико они попытались перенести баронессу, но, когда они подняли ее, голова завалилась назад, а платье, за которое они ухватились, стало рваться, настолько ее, такую грузную, трудно было сдвинуть с места. Жанна закричала от ужаса, и огромное дряблое тело снова опустили на землю.

Пришлось принести из гостиной кресло, усадить ее и таким образом поднять. Шаг за шагом внесли ее на крыльцо, затем по лестнице в спальню и, наконец, уложили на кровать.

Кухарка возилась без конца и никак не могла раздеть ее, но тут вовремя подоспела вдова Дантю, появившаяся внезапно, как и священник, будто они, по словам прислуги, «учуяли покойника».

Жозеф Куяр помчался во весь дух за доктором, а кюре собрался было пойти принести святые дары, но сиделка шепнула ему на ухо:

— Не утруждайте себя, господин кюре, верьте мне, она отошла.

Жанна была как безумная, она взывала ко всем, не знала, что делать, что предпринять, какое средство испробовать. Кюре на всякий случай произнес отпущение грехов.

Два часа прошло в ожидании возле посиневшего, безжизненного тела. Жанна рыдала, упав на колени, терзаясь страхом и горем.

Когда отворилась дверь и появился врач, ей показалось, что это само спасение, утешение, надежда; она кинулась к нему и принялась несвязно пересказывать то, что знала о случившемся:

— Она гуляла, как всегда... и чувствовала «себя хорошо... даже очень хорошо... за завтраком скушала бульон и два яйца... и вдруг она упала... и вся почернела... вот видите, какая она... и больше не шевелится... Мы все испробовали, чтобы привести ее в чувство, все, все...

Она замолчала, потрясенная, заметив жест, которым сиделка украдкой дала понять врачу, что все кончено. Не желая верить, она испуганно допрашивала:

— Это серьезно? Как вы думаете, это серьезно?

Врач ответил, запинаясь:

— Боюсь, очень боюсь... что это... конец. Соберите все мужество, все свое мужество.

Жанна раскинула руки и бросилась на тело матери.

В это время вернулся Жюльен. Он был ошеломлен и явно раздосадован, ни единым возгласом не выразил ни огорчения, ни скорби, не успев от неожиданности изобразить соответствующие чувства. Он пробормотал:

— Я так и знал, я чувствовал, что это конец.

Потом вытащил носовой платок, отер себе глаза, опустил на колени, перекрестился, промямлил что-то и, поднявшись, хотел поднять и жену. Но она обеими руками обхватила тело матери и целовала его, почти лежа на нем. Пришлось унести ее. Она совсем, казалось, обезумела.

Через час ей позволили войти снова. Все было кончено. Спальню превратили теперь в

комнату покойника. Жюльен и священник шепотом переговаривались у окна. Вдова Дантю уютно расположилась в кресле и приготовилась дремать, — она привыкла к таким бдениям и чувствовала себя хозяйкой в любом доме, куда заглянула смерть.

Надвигалась ночь. Кюре подошел к Жанне, взял обе ее руки и начал ее ободрять, изливая на ее безутешное сердце обильный елей религиозных утешений. Он говорил об усопшей, восхвалял ее в канонических выражениях и, скорбя лицемерной скорбью священника, которому от мертвеца только выгода, предложил провести ночь в молитве возле тела. Но Жанна запротестовала сквозь судорожные рыдания. Она хотела быть одна, совсем одна в эту прощальную ночь. Тут подошел к ней и Жюльен:

— Это невозможно, мы будем здесь вместе.

Она отрицательно качала головой, не в силах произнести ни слова. Наконец она проговорила:

— Это моя, моя мать. Я хочу быть одна подле нее.

Врач шепнул:

— Пусть поступает, как хочет, сиделка может остаться в соседней комнате.

Священник и Жюльен вспомнили о мягкой постели и согласились. Затем аббат Пико, в свою очередь, опустился на колени, помолился, встал и, уходя, сказал:» Святая была женщина «, — тем же тоном, каким произносил:» Dominus vobiscun»¹. После этого виконт обычным своим голосом спросил:

— Может быть, поешь чего-нибудь?

Жанна не ответила, даже не услышала, что он обращается к ней.

Он повторил:

— Тебе бы следовало подкрепиться.

Вместо ответа она сказала, как в забытии:

— Сейчас же пошли за папой.

Он вышел, чтобы отправить верхового в Руан. А она словно застыла в своей скорби и, казалось, ждала мгновения, когда останется наедине с покойницей, чтобы отдаться подступающему приливу безысходного горя.

Тени наводнили комнату, заволокли мраком усопшую. Вдова Дантю неслышно шныряла взад и вперед, брала и перекладывала невидимые в темноте предметы беззвучными движениями сиделки. Потом она зажгла две свечи, тихонько поставила их у изголовья кровати, на ночной столик, покрытый белой салфеткой.

Жанна как будто ничего не видела, не чувствовала, не понимала Она ждала минуты, когда останется одна. Жюльен пообедал и вернулся. Он спросил снова:

— Ты ничего не скушаешь?

Жанна отрицательно покачала головой.

Он сел, скорее с видом покорности судьбе, чем скорби, и больше не произносил ни слова.

Так сидели они трое не шевелясь, каждый в своем кресле, далеко друг от друга.

Минутами сиделка засыпала и слегка похрапывала, потом сразу просыпалась.

Наконец Жюльен поднялся и подошел к жене:

— Ты хочешь остаться одна?

Она в невольном порыве схватила его руку:

— Да, да, оставьте меня.

Он поцеловал ее в лоб и пробормотал:

— Я буду приходить проведывать тебя.

И он вышел вместе с вдовой Дантю, которая выкатила свое кресло в соседнюю комнату.

Жанна закрыла дверь, потом настежь распахнула оба окна. Ей в лицо повеяло теплой

¹ Господь с вами (лат.).

лаской вечера, напоенного запахом скошенного сена. Накануне скосили лужайку, и трава лежала рядами под лунным светом.

Это сладостное ощущение кольнуло ее, причинило ей боль, как насмешка.

Она вернулась к постели, взяла безжизненную, холодную руку матери и взгляделась в ее лицо.

Оно не было одутловатым, как в ту минуту, когда с ней случился удар; она словно спала теперь так спокойно, как не спала никогда; тусклое пламя свечей, колеблемое ветром, поминутно перемещало тени на ее лице, и от этого она казалась живой и словно шевелилась.

Жанна жадно смотрела на нее; и из далеких дней детства гурьбой сбегались воспоминания.

Она припоминала посещения маменьки в приемной монастыря, жест, которым она протягивала бумажный мешочек с пирожными, множество мелких черточек, мелких событий, мелких проявлений любви, ее слова, оттенки голоса, знакомые движения, морщинки у глаз, когда она смеялась, и как она отдувалась, когда усаживалась.

Она стояла, глядясь, и твердила про себя в каком-то отупении: «Она умерла», — и вдруг весь страшный смысл этих слов открылся ей.

Вот эта, лежащая здесь, — мама — маменька — мама Аделаида — умерла? Она не будет больше двигаться, говорить, смеяться, никогда больше не будет сидеть за обедом напротив папеньки, не скажет больше: «Здравствуй, Жаннета!» Она умерла!

Ее заколотят в гроб, зароят, и все будет кончено. Ее больше нельзя будет видеть. Да как же это возможно? Как возможно, что не станет ее мамы? Этот дорогой образ, самый родной, знакомый с той минуты, как впервые раскрываешь глаза, любимый с той минуты, как впервые раскрываешь объятия, это великое прибежище любви, самое близкое существо в мире, дороже для души, чем все» остальные, — мать, и она вдруг исчезнет. Всего несколько часов осталось смотреть на ее лицо, неподвижное лицо, без мысли, а потом ничего, ничего, кроме воспоминания.

И она упала на колени в жестоком пароксизме отчаяния; вцепившись обеими руками в простыню, она уткнулась головой в постель и закричала душераздирающим голосом:

— Мама, мамочка моя, мама!

Но тут, почувствовав, что сходит с ума, как в ночь бегства по снегу, она вскочила, подбежала к окну глотнуть свежего воздуха, иного, чем воздух близ этого ложа, чем воздух смерти.

Скошенные лужайки, деревья, ланда и море за ними дремали в безмолвном покое, убаюканные нежными чарами луны. Крупица этой умиротворяющей ласки проникла в сердце Жанны, и она заплакала тихими слезами.

Потом она вернулась к постели, села и взяла руку маменьки, как будто ухаживала за ней, больной.

Большой жук, привлеченный свечами, влетел в окно. Как мячик, бился он о стены, носился из конца в конец комнаты. Жанна отвлеклась его гулким гудением и подняла глаза, чтобы посмотреть на него; но удалось ей увидеть только его блуждающую тень на белом фоне потолка.

Потом он затих. И ей стало слышно легкое тиканье каминных часов и другой слабый звук, вернее — еле слышный шорох. Это продолжали идти маменькины часики, забытые в платье, брошенном на стул в ногах кровати. И полуосознанная параллель между той, которая умерла, и этим неостановившимся механизмом вызвала внезапную острую боль в сердце Жанны.

Она взглянула на часы. Они показывали половину одиннадцатого. Ей стало мучительно страшно провести здесь целую ночь.

И другие воспоминания возникли у нее, воспоминания из ее собственной жизни — Розали, Жильберта, разочарования сердца. Значит, все на свете только горе, мука, скорбь и смерть. Все обманывает, все лжет, все заставляет страдать и плакать. Где же найти немножко радости и покоя? Должно быть, в другой жизни! Когда душа освобождается от земных

испытаний. Душа! И она задумалась над этой непостижимой тайной, вдаваясь в поэтические вымыслы и тотчас опровергая их другими, столь же туманными гипотезами. Где же была теперь душа ее матери? Душа этого недвижимого и окоченевшего тела? Может быть, очень далеко. Где-то в пространстве. Но где? Испарилась, как аромат засохшего цветка? Или летала, как невидимая птица, вырвавшаяся из клетки?

Вернулась в лоно божие? Или расплылась среди новых творений, смешалась с зародышами, готовыми прорасти? А быть может, она очень близко? Тут, в комнате, возле покинутого ею безжизненного тела? И Жанне вдруг почудилось какое-то дуновение, словно касание бесплотного духа. Ее охватил страх, такой жестокий, нестерпимый страх, что она не смела пошевелиться, вздохнуть, оглянуться. Сердце у нее колотилось, как во время кошмара.

И вдруг невидимое насекомое снова принялось летать, кружить и стукаться о стены. Она вздрогнула всем телом, но, узнав знакомое жужжание, сразу же успокоилась, встала и обернулась. Взгляд ее упал на бюро, украшенное головами сфинксов, где хранились «реликвии».

И неожиданная благоговейная мысль явилась у нее, — мысль прочесть в эту ночь последнего прощания старые письма, дорогие сердцу покойницы, как она стала бы читать молитвенник. Ей казалось, что тем самым она исполнит некий священный долг, проявит поистине дочернюю чуткость и доставит на том свете радость маменьке.

Это были давние письма от ее деда и бабушки, которых она не знала. Ей хотелось протянуть к ним объятия над телом их дочери, побыть с ними в эту скорбную ночь, как будто и они горевали сегодня, создать некую таинственную цепь любви между ними, умершими давно, той, что скончалась в свой черед, и ею самой, еще оставшейся на земле.

Она встала, откинула доску бюро и вынула из нижнего ящика с десятков мелких пачек пожелтевших писем, аккуратно завязанных и уложенных в ряд.

Из чуткого и нежного, любовного внимания она переложила все их на постель, на руки баронессы, и начала читать. Это были давнишние письма, которые находишь в старинных фамильных бюро и от которых веет минувшим веком.

Первое начиналось со слов: «Моя малютка», другое — «Моя душенька», в дальнейших стояло: «Дорогая детка», «Моя милочка», «Родная моя дочка»; затем: «Дорогое дитя», «Дорогая Аделаида», «Дорогая дочь» — в зависимости от того, были ли они адресованы девочке, девушке или, позднее, молодой женщине.

Но все были полны выражениями горячей и простодушной любви, домашними мелочами, большими и такими обыкновенными семейными событиями, совсем ничтожными для посторонних: у папы лихорадка; няня Гортензия обожгла себе палец; кот Мышелов подох; срубили ель справа от ограды; мама потеряла молитвенник по дороге из церкви, она думает, что его украли.

Шла в этих письмах речь и о людях, незнакомых Жанне, но она смутно припоминала, что слышала их имена когда-то в раннем детстве.

Ее умиляли эти подробности, они казались ей откровениями; она как будто проникла вдруг в заповедные тайники прошлого, в тайники маменькиного сердца. Она посмотрела на простертое тело и неожиданно начала читать вслух, читать для покойницы, словно желая развлечь и утешить ее.

А неподвижное, мертвое тело как будто радовалось.

Одно за другим складывала она письма в ногах кровати; и ей пришло в голову, что их следовало бы положить в гроб, как кладут цветы.

Она развязала новую пачку. Тут почерк был другой. Она начала читать: «Я не могу жить без твоих ласк. Люблю тебя до безумия».

Больше ни слова. Подписи не было.

Она в недоумении вертела письмо. На адресе стояло ясно: «Баронессе Ле Пертюи де Во».

Тогда она развернула следующее: «Приходи сегодня вечером, как только он уедет. Мы пробудем часок вместе. Люблю тебя страстно».

Еще в одном: «Я провел ночь как в бреду, тщетно призывая тебя. Я ощущал твое тело в своих объятиях, твои губы на моих губах, твой взгляд под моим взглядом. И от ярости я готов был выброситься из окна при мысли, что в это самое время ты спишь рядом с ним, что он обладает тобой по своей прихоти...»

Жанна была озадачена, не понимала ничего.

Что это такое? Кому, для кого, от кого эти слова любви?

Она продолжала читать и всюду находила пылкие признания, часы потаенных встреч, — советы быть осторожной, и всюду в конце четыре слова: «Не забудь сжечь письмо».

Наконец она развернула официальную записку, простую благодарность за приглашение на обед, но почерк был тот же, и подпись «Поль д'Эннемар» принадлежала тому, кого барон при каждом упоминании до сих пор звал «мой покойный друг Поль» и чья жена была лучшей подругой баронессы.

У Жанны вспыхнула догадка, сразу же перешедшая в уверенность. Он был любовником ее матери.

Тогда, потеряв голову, она стряхнула с колен эти гнусные письма, как стряхнула бы заползшее на нее ядовитое животное, бросилась к окну и горько заплакала, не в силах более сдержать вопли, которые рвались у нее из горла; потом, совсем сломившись от горя, она опустилась на пол у стены, уткнулась в занавеску, чтобы не слышно было ее стонов, и зарыдала в беспредельном отчаянии.

Так бы она пробыла всю ночь, но в соседней комнате послышались шаги, и она стремительно вскочила на ноги. Вдруг это отец? А письма все разбросаны по кровати и по полу! Что, если он развернет хоть одно? И узнает... Узнает это?.. Он?..

Она подбежала, схватила в охапку старые, пожелтевшие письма, и от родителей матери, и от любовника, и те, которые еще не успела развернуть, и те, что лежали еще связанные в ящике бюро, и стала кучей сваливать в камин. Потом взяла одну из свечей, горевших на ночном столике, и подожгла эту грудку писем. Сильное пламя взвилось и яркими пляшущими огнями осветило комнату, смертное ложе и труп, а на белых занавесах алькова черной зыбкой тенью выступили очертания огромного тела под простыней и профиль застывшего лица.

Когда в глубине камина осталась только горсть пепла, Жанна вернулась к растворенному окну, словно боялась теперь быть возле покойницы, села и заплакала снова, закрыв лицо руками, жалобно повторяя в тоске:

— Ах, мама! Мамочка! Бедная моя мамочка!

И страшная мысль явилась ей: а если вдруг маменька не умерла, если она только уснула летаргическим сном и сейчас встанет и заговорит? Уменьшится ли ее дочерняя любовь оттого, что она узнала ужасную тайну? Поцелует ли она мать с тем же благоговением? Будет ли по-прежнему боготворить ее, как святыню? Нет. Прежнее не вернется! И от этого сознания у нее разрывалось сердце.

Ночь кончалась, звезды тускнели; наступил час предутренней прохлады. Луна спустилась к горизонту и, перед тем как окунуться в море, заливала перламутром всю его поверхность.

И Жанной овладело воспоминание о ночи, проведенной у окна, после ее приезда в Тополя. Как это было далеко, как все переменялось, как обмануло ее будущее!

Но вот небо стало розовым, радостно, нежно, пленительно розовым. Она смотрела теперь в изумлении, точно на чудо, на это сияющее рождение дня и не могла понять, как возможно, чтобы в мире, где занимаются такие зори, не было ни радости, ни счастья.

Стук двери заставил ее вздрогнуть. Это был Жюльен. Он спросил:

— Ну как? Очень измучилась?

Она тихо сказала «нет» и была рада избавиться от одиночества.

— Теперь ступай отдохни, — сказал он.

Она поцеловала мать долгим, горестным и скорбным поцелуем и ушла к себе в

спальню.

День был посвящен печальным хлопотам, связанным со смертью. Барон приехал к вечеру. Он очень горевал.

Похороны состоялись на другой день. После того как Жанна в последний раз прижалась губами к ледяному лбу покойницы, обрядив ее, и после того как забили крышку гроба, она удалилась к себе. Вскоре должны были прибыть приглашенные.

Жильберта приехала первой и, рыдая, бросилась на грудь подруге. Из окна видно было, как подкатывали и сворачивали в ворота экипажи. В вестибюле раздавались голоса. В комнату одна за другой входили женщины в черном, незнакомые Жанне. Маркиза де Кутелье и виконтесса де Бризвиль поцеловали ее.

Неожиданно она заметила, что тетя Лизон жмет за ее спиной. Она нежно обняла ее, отчего старая дева едва не лишилась чувств.

Вошел Жюльен в глубоком трауре, элегантный, озабоченный, довольный таким съездом. Он шепотом обратился к жене за советом. И добавил конфиденциальным тоном:

— Вся знать собралась. Похороны будут вполне приличные.

И пошел дальше, с достоинством поклонившись дамам.

Тетя Лизон и графиня Жильберта одни остались с Жанной на все время похоронного обряда. Графиня непрерывно целовала ее и твердила:

— Бедняжка моя, бедняжка моя!

Когда граф де Фурвиль вернулся за женой, он сам плакал так, словно похоронил собственную мать.

X

Печальны были последующие дни, унылые дни в доме, который кажется пустым из-за отсутствия близкого существа, исчезнувшего навеки, дни, когда при виде каждого предмета из обихода умершего ощущаешь укол боли. Поминутно на сердце падает воспоминание и ранит его. Вот ее кресло, ее зонтик, оставленный в прихожей, ее стакан, который горничная забыла убрать... И во всех комнатах разбросаны ее вещи: ножницы, перчатки, книжка, страницы которой истерты ее отеками пальцев, и множество других мелочей, приобретающих мучительный смысл оттого, что они напоминают множество ничтожных событий.

И голос ее как будто слышится повсюду; и хочется бежать из дому, избавиться от этого наваждения! А надо оставаться, потому что другие остаются тут и страдают тоже.

Кроме того, Жанна все еще была подавлена своим открытием. Это воспоминание гнетом лежало на ней, — рана в сердце не заживала. Страшная тайна еще усугубляла ее одиночество; последнее доверие к людям рухнуло в ней вместе с последней верой.

Отец спустя некоторое время уехал, ему необходимо было двигаться, переменить обстановку, стряхнуть с себя мрачную тоску, томившую его все сильнее.

И большой дом, время от времени провожавший навеки кого-нибудь из своих хозяев, снова вошел в колею мирной неразумной жизни.

А потом вдруг заболел Поль. Жанна совсем обезумела, двенадцать суток не спала и почти не ела.

Он выздоровел; но в ней засела страшная мысль, что он может умереть. Что ей тогда делать? Что с ней станет? И потихоньку в душу ее прокралось смутное желание иметь второго ребенка. Вскоре ее уже целиком поглотила прежняя мечта видеть возле себя двух детей, мальчика и девочку. Мечта превратилась в навязчивую идею.

Однако после истории с Розали она жила отдельно от Жюльена. А сближение казалось даже невозможным при существующих обстоятельствах. Жюльен имел связь на стороне, она знала это; и одна мысль об его объятиях вызывала у нее дрожь отвращения.

И все же она претерпела бы их, так мучило ее желание стать матерью; но она не представляла себе, как могут возобновиться их ласки. Она умерла бы от унижения, если бы

он догадался о ее намерениях; а он явно не думал о ней.

Возможно, она отказалась бы от своей мечты; но теперь что ни ночь ей снилась дочка, — будто бы она вместе с Полем резвится под платаном; и временами ее неудержимо тянуло встать и, не говоря ни слова, пойти к мужу в спальню. Два раза она даже прокрадывалась к самой двери, но тотчас же торопливо убегала, и сердце у нее колотилось от стыда.

Барон уехал; маменька умерла; Жанне некому теперь было довериться, не с кем посоветоваться о своих интимных делах.

Тогда она решила пойти к аббату Пико и под тайной исповеди поведать ему о своих трудных замыслах.

Она застала его за чтением требника в маленьком садике, засаженном плодовыми деревьями.

Поболтав несколько минут о том, о сем, она проговорила, краснея и запинаясь:

— Господин аббат, я хочу исповедаться.

Он изумился и даже поднял очки, чтобы лучше рассмотреть ее, потом засмеялся:

— Однако же у вас на совести вряд ли очень тяжкие грехи.

Она смутилась окончательно и объявила:

— Нет, но мне нужно спросить у вас совета по такому... такому щекотливому делу, что говорить так вот, прямо, я не решаюсь.

Он тотчас сменил обычный свой добродушный вид на осанку священнослужителя.

— Ну что же, дитя мое, пойдете, я выслушаю вас в исповедальне.

Но она остановилась в нерешительности, ей стало вдруг совестно говорить на такие как будто бы непристойные темы посреди благочиния пустого храма.

— Лучше не надо, господин кюре, лучше... если можно, я здесь вам скажу, зачем я пришла. Знаете, пойдете сядем у вас в беседке.

Оба пошли туда медленными шагами. Она не знала, как выразить свою мысль, с чего начать. Они уселись.

И тут она начала, словно на исповеди:

— Отец мой...

Потом замялась, повторила еще раз: «Отец мой...» — и умолкла, смешавшись.

Он ждал, сложив руки на животе. Увидя ее смущение, он ободрил ее:

— Что это, дочь моя, вы как будто робеете; да ну же, говорите смелее.

И она отважилась сразу, как трус, который бросается навстречу опасности.

— Отец мой, я хочу второго ребенка.

Он ничего не понял и потому не ответил ей. Тогда она стала объяснять, волнуясь, не находя слов:

— Я теперь одна на свете; отец и муж не очень ладят между собой, мама умерла; а тут, тут...

Она произнесла шепотом, содрогнувшись:

— На днях я чуть не лишилась сына! Что бы со мной случилось тогда?

— Она замолчала. Священник в недоумении смотрел на нее.

— Ну, так чего же вы хотите?

— Я хочу второго ребенка, — повторила она.

Тогда он заулыбался, привычный к сальным шуткам крестьян, которые при нем не стеснялись, и ответил, лукаво покачивая головой:

— Что ж, мне кажется, дело за вами.

Она подняла на него свои невинные глаза и пролепетала в смущении:

— Да ведь... ведь... после того... вы знаете... после того, что случилось... с этой горничной... мы с мужем живем... совсем врозь.

Он привык к распущенным, лишенным достоинства нравам деревни и удивился такому признанию, но потом решил, что угадывает скрытые побуждения молодой женщины. Он поглядел на нее искоса с благожелательством и сочувствием к ее беде.

— Так, так, я понял вас. Вам в тягость ваше... ваше вдовство. Вы женщина молодая, здоровая. Словом, это естественно, вполне естественно.

Он снова заулыбался, давая волю присущей ему игривости деревенского кюре, и ласково похлопал Жанну по руке.

— Заповедями это дозволено, совершенно дозволено: «Только в браке пожелаешь себе мужа». Вы ведь состоите в браке, правда? Так не затем же, чтобы сажать репу.

Теперь она, в свой черед, не понимала его намеков. Но как только смысл их стал ей ясен, она залилась краской и разволновалась до слез:

— Ах, что вы, господин кюре? Как вы могли подумать? Клянусь вам... клянусь...

Она захлебнулась от рыданий.

Он был поражен и стал успокаивать ее:

— Ну, что вы, я не хотел вас обидеть. Я только пошутил немножко; почему не пошутить честному человеку? Но положитесь на меня, положитесь смело. Я побеседую с господином Жюльеном.

Она не знала, что ответить. Теперь ей хотелось уклониться от его вмешательства, которое могло оказаться бестактным, а потому вредным. Но она не посмела и поспешила уйти, пробормотав:

— Благодарю вас, господин кюре.

Прошла неделя. Жанна провела ее в томительной тревоге.

Как-то вечером Жюльен весь обед посматривал на нее странным взглядом, посмеиваясь, как всегда, когда бывал игриво настроен. Он даже слегка ухаживал за ней с чуть заметной иронией, а когда они гуляли потом по большой маменькиной аллее, он шепнул ей на ухо:

— Говорят, между нами мир?

Она не ответила. Она всматривалась в черту на земле, почти уже заглушенную травой. Это был след маменькиной ноги, и он стирался, как стирается воспоминание. А у Жанны сердце сжималось от тоски, ей казалось, что она затеряна в жизни, безмерно одинока.

— Я лично очень рад, — продолжал Жюльен. — Я только не желал навязываться.

Солнце садилось, вечер был теплый и тихий. Жанне хотелось плакать, хотелось излить душу другу, прижаться к нему и пожаловаться на свое горе. Рыдания подступили ей к горлу. Она раскрыла объятия и упала на грудь Жюльену.

Она плакала. А он в недоумении смотрел на ее затылок, потому что лицо было спрятано у него на груди. Он решил, что она по-прежнему любит его, и запечатлел снисходительный поцелуй на ее волосах.

Вернулись они молча. Он вошел с ней в ее спальню и провел у нее ночь.

Так возобновились их былые отношения. Он осуществлял их как обязанность, однако довольно приятную, она же терпела их как тягостную и мучительную необходимость, с твердым намерением прекратить их навсегда, едва только забеременеет вторично.

Но вскоре она заметила, что ласки мужа не похожи на прежние. Они стали, пожалуй, искуснее, но сдержаннее. Он обращался с ней, как осторожный любовник, а не как безмятежный супруг.

Она удивилась, стала наблюдать и вскоре заметила, что ласки его неизменно обрываются до того, как она может быть оплодотворена.

Однажды ночью она прошептала ему, уста к устами:

— Почему ты не отдаешься мне всецело, как прежде?

Он захохотал:

— Понятно почему, — чтобы ты не забеременела.

Она вздрогнула.

— Почему ты не хочешь больше детей?

Он застыл от изумления.

— Как? Что ты говоришь? Ты с ума сошла? Еще ребенка? Ну нет, увольте. Довольно, что один тут питит, отвлекает всех и стоит денег. А еще второго? Благодарю покорно!

Она обхватила его, осыпала поцелуями и между ласками шепнула:

— Милый, умоляю тебя, сделай меня еще раз матерью.

Но он рассердился, как будто она оскорбила его.

— Право же, ты не в своем уме. Прошу тебя, прекрати эти глупости.

Она замолчала и про себя решила хитростью добиться от него желанного счастья.

Теперь она старалась продлить его ласки, разыгрывала комедию безумной страсти, судорожно прижимая его к себе в притворном упоении. Она прибегала ко всяческим уловкам, но он не терял самообладания и не забылся ни разу.

И тут, когда неотступное желание совсем истерзало ее, когда она дошла до предела и готова была всем пренебречь, на все дерзнуть, она снова отправилась к аббату Пико.

Он кончал завтрак и был очень красен, потому что после еды всегда страдал сердцебиением. Увидев ее, он закричал: «Ну, как?»— ему не терпелось узнать результаты своего посредничества.

Теперь она была решительнее, отбросила стыдливую робость и отвечала прямо:

— Мой муж не хочет больше иметь детей.

Аббат повернулся к ней, живо заинтересовавшись и собираясь с любопытством священника порыться в тех альковных тайнах, которые развлекали его в исповедальне. Он спросил:

— Как же так?

Несмотря на всю свою отвагу, она смутилась и не знала, как объясниться:

— Ну... ну... он отказывается сделать меня матерью.

Аббат понял, он был сведущ в этих делах, и принялся допрашивать о мельчайших подробностях с жадностью мужчины, обреченного поститься.

Потом он подумал немного и спокойным тоном, как говорил бы о хороших видах на урожай, во всех деталях начертал ей план умелых действий.

— Дитя мое, вам осталось одно средство — обманите его, скажите, что вы беременны. Он перестанет остерегаться. Вы и забеременеете на самом деле.

Она вспыхнула до корней волос, но решила не отступать ни перед чем:

— А если... если он мне не поверит?

Кюре хорошо знал способы направлять людей и держать их в руках:

— Оповестите всех о своей беременности, рассказывайте о ней направо и налево; под конец придется поверить и ему.

Затем, как бы желая оправдать себя за эту хитрость, он присовокупил:

— Вы вполне в своем праве, церковь допускает сношения между мужчиной и женщиной лишь во имя продолжения рода.

Она последовала хитрому совету и через две недели объявила Жюльену о своей предполагаемой беременности. Он даже подскочила

— Неправда. Быть этого не может!

Она указала причины своих — подозрений. Но он постарался успокоить самого себя:

— Ну! Это ничего не значит. Погоди немного.

И он стал спрашивать каждое утро:

— Ну, как?

А она неизменно отвечала:

— Пока ничего. Да у меня нет сомнений, что я беременна.

Теперь он забеспокоился, досадуя и огорчаясь еще больше, чем недоумевая. Он твердил:

— Не понимаю, решительно ничего не понимаю. Хоть убей, не знаю, как это случилось.

Через месяц она рассказывала свою новость всем на свете, не рассказывала только графине Жильберте из какого-то сложного чувства целомудренной деликатности.

После первого тревожного известия Жюльен не приходил к ней; потом в досаде махнул рукой, заявив:

— Вот уж непрошенный подарок.

И снова стал бывать в спальне жены.

Все шло в точности, как предвидел священник. Она забеременела.

Тогда в приливе самозабвенной радости и благодарности к тому неведомому божеству, которому она поклонялась, Жанна дала клятву вечного целомудрия и стала каждую ночь запирает свою дверь.

Она опять была почти счастлива и только удивлялась, как быстро утихла ее скорбь после смерти матери. Она думала, что не утешится никогда, а не прошло и двух месяцев, как открытая рана стала затягиваться. Осталась только умиленная грусть, словно дымка печали, выброшенная на ее жизнь. Она не ожидала впереди никаких потрясений. Дети будут расти и любить ее; она состарится в душевном покое, не думая о муже.

В конце сентября аббат Пико явился с официальным визитом, в новой сутане, не успевшей просалиться за неделю; он представил своего преемника, аббата Тольбиака. Это был совсем еще молодой священник, низенький, тощий, выражался он высокопарно, а глаза, впалые, обведенные темными кругами, выдавали в нем страстность души.

Старый кюре был назначен деканом в Годервиль.

Жанне его отъезд причинил настоящее огорчение. С этим толстяком были связаны все воспоминания ее жизни после замужества. Он ее венчал, он крестил Поля и хоронил баронессу. Она не представляла себе Этувана без мелькающего вдоль ферм брюшка аббата Пико, да она и любила его за веселый, искренний нрав.

Несмотря на повышение, он тоже, казалось, не радовался. Он говорил:

— Нелегко мне это, нелегко, виконтесса. Целых восемнадцать лет пробыл я здесь. Конечно, приход небогатый и вообще не бог весть какой. Мужчины веруют не больше, чем полагается, а женщины, надо признаться, ведут себя весьма непохвально. Девушки не приходят в церковь венчаться без того, чтобы не побывать у божьей матери всех пузатых, и цветы померанца дешево ценятся здесь. А я все-таки любил эти места.

Новый кюре явно был недоволен и даже весь покраснел. Внезапно он заявил:

— При мне все это должно перемениться.

Он напоминал злого ребенка, худой, щуплый, в потертой, но опрятной сутане.

Аббат Пико посмотрел на него искоса, как смотрел обычно в веселые минуты, и возразил:

— Ну, знаете, аббат, чтобы положить конец этим делам, придется посадить ваших прихожан на цепь; да и то не поможет.

Молодой священник ответил жестко:

— Что ж, увидим.

А старый кюре улыбнулся, втягивая в нос понюшку.

— Годы, а с ними и опыт охладят ваш пыл, аббат. Чего вы добьетесь? Отпугнете от церкви последних богомольцев — только и всего. Берегитесь — люди в здешних местах верующие, но озорные. Право же, когда я вижу, что в церковь послушать проповедь входит девушка, толстоватая на мой взгляд, я думаю: «Ну вот, принесет мне нового прихожанина», — и стараюсь выдать ее замуж. Грешить вы их не отговорите, так и знайте, а зато вы можете пойти к парню и уговорить, чтобы он не бросил мать своего ребенка. Жените их, аббат, жените, а о другом и не помышляйте!

Новый кюре ответил сурово:

— Мы мыслим по-разному, и спорить нам бесполезно.

И аббат Пико принялся вновь оплакивать свою деревушку, море, которое было ему видно из окон церковного дома, воронкообразные лощинки, где он бродил, читая требник и доглядывая вдаль на проходящие мимо суда.

Оба священника откланялись. Старик поцеловал Жанну, которая с трудом сдержала слезы.

Спустя неделю аббат Тольбиак пришел снова. Он рассказал о начатых им преобразованиях тоном монарха, вступившего во владение королевством. Затем он попросил

виконтессу непременно присутствовать на воскресной службе и причащаться каждый большой праздник.

— Мы с вами стоим во главе общины, — говорил он, — мы призваны руководить ею и неизменно подавать пример, достойный подражания. Мы должны быть единоклюбно, дабы пользоваться влиянием и почетом. Если церковь и замок заключат между собой союз, хижины будут бояться нас и подчиняться нам.

Вера Жанны покоилась исключительно на чувстве; она была, как все женщины, настроена несколько мистически, а обряды выполняла с грехом пополам, главным образом по монастырской привычке, так как вольнодумная философия барона давно опрокинула ее религиозные убеждения.

Аббат Пико довольствовался тем малым, что она могла дать, и никогда не укорял ее. Но преемник его, не увидев ее у обедни в одно из воскресений, прибежал в тревоге и гнев.

Она не хотела порывать отношения с церковным домом и пообещала все, решив про себя только из любезности проявлять усердие в первые недели.

Но мало-помалу она привыкла ходить в церковь и поддалась влиянию этого хилого, но стойкого и властного аббата. Он привлекал ее, как фанатик, своей восторженной страстностью. Он задевал в ней те самые струны мистической поэзии, которые звучат в душе каждой женщины. Непреклонная строгость, презрение к чувственным радостям, отвращение к мирским делам, любовь к богу, непримиримость подростка, суровая речь, несгибаемая воля — таковы, казалось Жанне, были черты мучеников; и ее, исстрадавшуюся и разочарованную во всем, увлек упрямый фанатизм этого юноши, служителя небес.

Он вел ее ко Христу-утешителю, обещая ей утешение всех страданий в благочестивых радостях религии; и она смиренно преклоняла колена на исповеди, чувствовала себя маленькой и слабой перед этим пастырем, которому на вид было пятнадцать лет.

Но его вскоре возненавидел весь приход.

К себе он был неуклонно строг и к другим проявлял беспощадную нетерпимость. Особенно распалая его гневом и возмущением любовь. Во время проповеди он громил ее, по церковному обычаю, в самых откровенных выражениях, оглушая своих деревенских слушателей звучными тирадами против похоти; и сам при этом дрожал от ярости, топал ногами, весь во власти тех образов, которые вызывал своими яростными обличениями.

Взрослые парни и девушки исподтишка переглядывались через всю церковь, а старики крестьяне, любившие пошутить на эту тему, неодобрительно отзывались о нетерпимости плюгавого кюре, возвращаясь от обедни с сыном в синей блузе и женой в черной накидке. Вся округа волновалась.

Люди шушукались между собой о том, как он строг на исповеди, какое суровое накладывает покаяние: а то, что он упорно отказывал в отпущении грехов девушкам, не сумевшим соблюсти невинность, давало пищу для зубоскальства. Во время торжественного праздничного богослужения прихожане посмеивались при виде девиц, сидевших на своих скамьях, когда все остальные шли к причастию.

Вскоре он стал выслеживать влюбленных и мешать их свиданиям, как сторож преследует браконьеров. В лунные вечера он гонял их из придорожных канав, из-за амбаров, из зарослей дрока на склонах отлогих холмов.

Однажды он обнаружил чету, которая не разъединилась при виде его; молодые люди шли, обнявшись, по каменистому оврагу и целовались.

Аббат закричал:

— Перестаньте вы, скоты этакие!

Парень обернулся и ответил:

— Занимайтесь своими делами, господин кюре, а в наши не суйтесь.

Тогда аббат подобрал камешки и стал швырять в них, точно в собак.

Они убежали, дружно смеясь; а в следующее воскресенье он во всеуслышание объявил с амвона их имена.

Все местные парни перестали ходить в церковь.

Кюре обедал в господском доме каждый четверг и среди недели нередко заходил побеседовать со своей духовной дочерью. Подобно ему, она доводила себя до экстаза, когда они рассуждали о духовных предметах, пуская в ход весь старинный и сложный арсенал религиозной казуистики.

Они гуляли вдвоем по большой маменькиной аллее и говорили о Христе, об апостолах, о пресвятой деве и отцах церкви, как о своих личных знакомых. Они останавливались, когда выдвигали особенно глубокомысленные проблемы и вдавались в мистические бредни, причем она увлекалась поэтическими умозаключениями, ракетой взлетающими прямо в небо, он же приводил более положительные аргументы, точно маньяк, который взялся бы математически доказать квадратуру круга.

Жюльен выказывал новому кюре большое уважение, то и дело повторяя:

— Вот это, я понимаю, священник! Этот на уступки не пойдет.

И он исповедовался и причащался, сколько требовалось, щедро «подавая пример».

Теперь он почти ежедневно бывал у Фурвилей, охотился с мужем, который не мог жить без него, и катался верхом с графиней даже в дождь и в непогоду. Граф говорил:

— Они совсем помешались на верховой езде, но ничего, жене это полезно.

Барон приехал к середине ноября. Он изменился, постарел, притих, погрузился в беспросветную тоску, снедавшую его душу. И сразу же любовь к дочери вспыхнула в нем с новой силой, как будто несколько месяцев унылого одиночества довели у него до предела жажда привязанности, душевной близости, нежности.

Жанна не стала поверять ему свои новые взгляды, дружбу с аббатом Тольбиаком и свое религиозное рвение, но он с первого же раза почувствовал жгучую неприязнь к священнику.

И когда молодая женщина спросила вечером:

— Как ты его находишь? — барон ответил:

— Это сущий инквизитор! И, должно быть, опасный человек.

А затем, узнав от крестьян, которым он был другом, о жестокостях молодого священника, о гонениях его против естественных законов и врожденных инстинктов, барон всей душой возненавидел его.

Сам он был из поколения старых философов, почитателей природы, умилялся при виде соединения двух живых тварей, поклонялся некоему божеству пантеистов и восставал против католического бога с взглядами мещанина, злобностью иезуита и мстительностью тирана, бога, принижавшего в его глазах творение, — неотвратимое, безграничное, всемогущее творение, которое есть жизнь, свет, земля, мысль, растение, камень, человек, воздух, животное, звезда, бог и насекомое одновременно, творящее, потому что оно творение, потому что оно сильнее воли, необъятнее разума, и созидает оно без цели, без смысла и без конца, во всех направлениях и видах, по всему беспредельному пространству, в зависимости от случая и соседства солнц, согревающих миры.

В творении заключены все зародыши, мысль и жизнь произрастают в нем, как цветы и плоды на деревьях.

Поэтому для барона размножение было великим вселенским законом, почетным, священным, божественным актом, осуществляющим непостижимую и неизменную волю верховного существа. И он начал энергично восстанавливать ферму за фермой против нетерпимого священника, гонителя жизни.

Жанна в отчаянии молила господу, заклинала отца, но он неизменно отвечал:

— С такими людьми надо вести борьбу, это наш долг и наше право. Они не люди, а выродки.

И он повторял, встряхивая длинными седыми волосами;

— Это выродки; они не понимают ничего, ровно ничего. Они действуют под влиянием пагубного заблуждения, они противоестественны.

В его устах «противоестественны» звучало как проклятие.

Священник хоть и чуял врага, но хотел сохранить власть над господским домом и молодой хозяйкой и потому выжидал, не сомневаясь в конечной победе.

Кроме того, его неотступно преследовала одна мысль: он случайно обнаружил любовную интригу Жюльена и Жильберты и во что бы то ни стало хотел положить ей конец.

Однажды он явился к Жанне и после долгой беседы на мистические темы предложил ей в союзе с ним побороть и истребить зло в ее собственной семье, спасти от гибели две души.

Она не поняла его и стала допытываться. Он ответил:

— Еще не пришло время, но скоро я снова посетю вас.

И поспешил уйти.

Было это в конце зимы, гнилой зимы, как говорят в деревне, сырой и теплой.

Аббат явился снова через несколько дней и в туманных выражениях повел речь о недостойных связях между людьми, которым надлежало бы вести себя безупречно.

— А тем, кто осведомлен о таких греховных делах, — говорил он, — следует всеми способами пресекать их. — Потом он вдался в возвышенные рассуждения, взял Жанну за руку и призвал ее открыть глаза, понять наконец и помочь ему.

На этот раз она поняла, но молчала, с ужасом предвидя все то тягостное, что может обрушиться на ее умиротворенный дом; и она притворилась, будто не знает, о чем говорит аббат. Тогда он решил объясниться прямо:

— Мне выпала на долю тяжелая обязанность, виконтесса, но уклониться от нее я не могу. Мой сан повелевает мне осведомить вас о том, чему вы можете помешать. Итак, знайте, что муж ваш состоит в преступных отношениях с госпожой де Фурвиль.

Она в покорном бессилии склонила голову.

Аббат не унимался:

— Что вы намерены сделать теперь?

— Что же мне делать, господин аббат? — прошептала она.

— Воспрепятствовать этой беззаконной страсти, — отрезал он.

Тогда она заговорила в тоске, сквозь слезы:

— Ведь он уже обманывал меня с прислугой; он не обращает на меня внимания; он разлюбил меня; он груб со мной, когда мои желания ему не по нутру. Что же я могу поделать?

Кюре вместо прямого ответа возопил:

— Значит, вы это приемлете! Вы примиряетесь! Вы соглашаетесь! Вы терпите прелюбодеяние под вашим кровом! На ваших глазах совершается преступление, а вы отводите взгляд? И при этом вы полагаете, что вы супруга? Христианка? Мать?

— Что же мне делать? — прорыдала она.

— Все, что угодно, только не терпеть эту мерзость, — отвечал он. — Все, говорю я вам. Бросьте его, бегите из этого оскверненного дома.

— Но у меня нет денег, господин аббат, — возразила она. — И сил тоже нет больше. И как уйти без доказательств? Я даже права на это не имею.

Священник поднялся, весь дрожа.

— В вас говорит трусость, сударыня. Я считал вас иной. Вы не достойны божьего милосердия!

Она упала на колени.

— О нет, прошу вас, не покидайте меня! Наставьте меня!

Он произнес отрывисто:

— Откройте глаза господину де Фурвиль. Он, и никто другой, должен положить конец этой связи.

От одной этой мысли ее охватил ужас.

— Да ведь он убьет их, господин аббат! И чтобы я выдала их! Нет, нет, никогда!

Тогда он поднял руку, словно для проклятия, вне себя от гнева:

— Так живете же в позоре и преступлении, ибо вы виновнее их. Вы потворствуете мужу! Мне же здесь больше делать нечего.

Он ушел разъяренный, дрожа всем телом.

Она побежала за ним как потерянная и уже готова была уступить, уже бормотала обещания. Но он весь трясся от возмущения и стремительно шагал, в бешенстве размахивая огромным синим зонтом, чуть ли не больше его самого.

Он заметил Жюльена, который стоял возле ограды и указывал, как подстригать деревья; тогда он повернул налево, чтобы пройти фермой Куяров; при этом он твердил:

— Оставьте меня, сударыня, нам с вами не о чем говорить.

Как раз на его пути, посреди двора, кучка детворы, хозяйской и соседской, собралась вокруг конуры собаки Мирзы и с любопытством, молча, пытливо и внимательно рассматривала что-то. А среди детей, точно школьный учитель, заложив руки за спину и также любопытствуя, стоял барон. Но едва он завидел священника, как поспешил уйти, чтобы не встречаться, не раскланиваться, не разговаривать с ним.

Жанна говорила с мольбой:

— Подождите несколько дней, господин аббат, а потом придите снова. Я расскажу вам, что мне удалось придумать и сделать, и тогда мы все обсудим.

Тут они очутились возле детей, и кюре подошел поближе, посмотреть, чем там заняты малыши. Оказалось, что щенится собака. Перед конурой пятеро щенят уже копошились вокруг матери, а она лежала на боку, вся измученная, и заботливо лизала их. В ту минуту как священник нагнулся над ней, она судорожно вытянулась, и появился шестой щенок. И все ребятишки завопили в восторге, хлопая в ладоши:

— Еще один, гляди, гляди, еще один!

Для них это была забава, невинная забава, в которой не было ничего нечистого. Они смотрели, как рождаются живые существа, не иначе, чем смотрели бы, как падают с дерева яблоки.

Аббат Тольбиак сперва остолбенел, потом в приливе неудержимого бешенства занес свой огромный зонт и принялся с размаху колотить детей по головам. Испуганные ребятишки пустились наутек; и он очутился прямо перед рожавшей сукой, которая силилась подняться. Но он даже не дал ей встать на ноги и, не помня себя, начал изо всей мочи бить ее. Она была на цепи, а потому не могла убежать и страшно визжала, извиваясь под ударами. У него сломался зонт. Тогда, оказавшись безоружным, он наступил на нее и стал яростно топтать ее ногами, мять и давить. Под нажимом его каблуков у нее выскочил седьмой детеныш, после чего аббат в неистовстве прикончил каблуком окровавленное тело, которое шевелилось еще посреди новорожденных, а они, слепые, неповоротливые, пищали и уже искали материнские сосцы.

Жанна бросилась было прочь, но кто-то вдруг схватил священника за шиворот и пощечиной сбил с него треуголку; дотащив его до ограды, разъяренный барон вышвырнул его на дорогу.

Когда г-н Ле Пертюю обернулся, он увидел, что дочь его рыдает, стоя на коленях посреди щенят, и собирает их в подол своего платья. Он пошел к ней обратно крупными шагами, жестикулируя и выкрикивая:

— Вот он, вот он, твой долгополый! Видала его теперь?

Сбежались фермеры, и все смотрели на растерзанное животное, а тетка Куяр заметила:

— Бывают же такие дикари!

Жанна подобрала семерых щенят и решила их выводить.

Их пытались поить молоком; трое окозели на следующий день. Тогда дядюшка Симон отправился искать по всей округе оценившуюся суку, но не нашел и принес взамен кошку, уверяя, что она вполне пригодится. Пришлось утопить еще троих щенят, а последнего отдать на воспитание этой кормилице другого племени. Она сразу же приняла его, улеглась на бок и подставила ему сосок.

Через две недели песика отняли от кошки, чтобы он не изнурил свою приемную мать, и Жанна взялась сама кормить его с рожка. Она назвала его Тото. Барон же самовольно переименовал его и окрестил его «Убой».

Священник больше не приходил, но в ближайшее воскресенье он с кафедры осыпал

проклятиями, поношениями и угрозами господский дом, заявил, что надо каленым железом выжигать язвы, предал анафеме барона, которого это только позабавило, и намекнул еще нерешительно и туманно на любовные похождения Жюльена Виконт рассвирепел, но страх громкого скандала умерил его пыл.

Отныне священник в каждой проповеди возвещал свое мщение, предрекал, что близок час божьего гнева, когда кара постигнет всех его врагов.

Жюльен обратился к архиепископу с почтительным, но весьма настойчивым письмом. Аббату Тольбиаку пригрозили опалой. Он замолк.

Теперь он совершал долгие одинокие прогулки, размашисто шагая в сильнейшем возбуждении. Когда Жильберта и Жюльен катались верхом, они встречали его на каждом шагу, — иногда он маячил черной точкой где-нибудь на дальнем конце равнины или на гребне кряжа, иногда он читал требник в узкой долине, куда они направлялись. И они поворачивали обратно, чтобы не проезжать мимо него.

Настала весна и разожгла их любовь, каждый день бросая их в объятия друг друга то здесь, то там, под любым кровом, какой только попадался им на пути.

Листва на деревьях еще сквозила, а земля еще не просохла, и они не могли, как в разгар лета, углубляться в лесную чашу и потому облюбовали для своих тайных свиданий передвижную пастушью сторожку, брошенную с осени на вершине Вокотского холма.

Она стояла одна, высоко поднятая на колесах, в пятистах метрах от кряжа, близ того места, откуда начинался крутой спуск к долине. Их не могли застичь там врасплох, так как им была видна вся окрестность; а лошади, привязанные к оглоблям, дожидались, пока они насытятся поцелуями.

Но вот однажды; в ту минуту, когда они покидали свое убежище, они заметили аббата Тольбиака, который сидел, укрывшись в прибрежных камышах.

— Придется оставлять лошадей в овраге, — сказал Жюльен. — Они могут выдать нас.

И они стали привязывать коней в поросшей кустарником лощинке.

Но как-то вечером, возвращаясь вдвоем в Ла-Врийет, где их ждал к обеду граф, они встретили этуванского кюре, выходявшего из дома. Он посторонился, чтобы пропустить их, и, кланяясь, отвел взгляд в сторону.

Они встревожились, но вскоре успокоились.

Однако как-то в холодный ветреный день, — было это в начале мая, — Жанна читала у камина и вдруг увидела графа де Фурвиль, который шел к ним в Тополя таким торопливым шагом, что она испугалась, не случилось ли несчастья.

Она поспешила ему навстречу и, очутившись с ним лицом к лицу, подумала, что он помешался. На нем была охотничья куртка, на голове большой меховой картуз, который он носил только у себя в имении, а сам он был так бледен, что рыжие усы, не выделявшиеся обычно на его румяном лице, теперь казались огненными. Взгляд был безумный, глаза бессмысленно блуждали.

— Моя жена ведь здесь, правда? — выговорил он.

Жанна, совсем растерявшись, ответила:

— Нет, я ее даже не видала сегодня.

Он сел, как будто у него подкосились ноги, снял картуз и несколько раз машинально провел носовым платком по лбу; затем вскочил, подошел к молодой женщине, протянув обе руки и открыв рот, словно собирался сказать что-то, поверить ей какое-то жестокое горе, но вдруг остановился, пристально взглянул на нее и проронил, как в бреду:

— А он-то ведь ваш муж... значит, и вы...

И бросился бежать по направлению к морю.

Жанна пыталась догнать его, звала, умоляла, а сердце у нее сжималось от ужаса при мысли: «Он все знает! Что он сделает? Ох, только бы он не нашел их!»

Но удержать его она не могла, он не слушал ее. Он шел без колебаний, напрямик, к определенной цели. Он перепрыгнул ров, огромными шагами пересек заросли камыша и достиг кряжа.

Стоя на обсаженном деревьями откосе, Жанна долго следила за ним глазами, потом, потеряв его из виду, в мучительной тревоге вернулась домой.

А он свернул вправо и побежал. Неспокойное море угрюмо катило волны. Тяжелые, совсем черные тучи с бешеной скоростью надвигались, проплывали, за ними вслед другие, — и все обрушивались на берег яростным дождем. Ветер свистал, выл, стлался по траве, пригибал молодые побеги и, подхватывая больших белых птиц, как хлопья пены, гнал их далеко от моря. Ливень налетал порывами, хлестал графа по лицу, заливал ему щеки водой, которая стекала по усам, наполнял его уши шумом, а сердце смятением.

Прямо перед ним открывалась узкая глубокая Вокотская долина. Вокруг — ничего, кроме пастушьей сторожки и пустого загона для овец возле нее. К оглоблям домика на колесах были привязаны две лошади. Чего было опасаться в такую непогоду?

Едва увидев их, граф припал к земле и пополз на руках и на коленях, напоминая какое-то чудовище, — большой, весь измазанный, в мохнатом картузе.

Так он добрался до уединенной лачуги и спрятался под ней, чтобы его не заметили сквозь щели между досок.

Лошади заволновались, увидев его. Он осторожно перерезал уздечки ножом, который держал наготове. В этот миг налетел ураган, и лошади умчались, подхлестнутые градом, который барабанил по кривой кровле дощатого домика на колесах и сотрясал его.

Тогда граф привстал на колени, прильнул глазом к отверстию под дверью и заглянул внутрь.

Теперь он не шевелился; он как будто выжидал; это длилось долго; и вдруг он выпрямился, весь в грязи с головы до пят. Яростным движением задвинул он засов, запиравший дверь снаружи, схватил оглобли и стал встряхивать всю конурку, как будто хотел разнести ее в щепы. Затем быстро впрягся в нее и, согнув свой высокий стан, в неимоверном усилии стал тянуть, точно вол, задыхаясь от натуги; так увлек он до начала крутого склона подвижной домик вместе с теми, кто был внутри.

Они кричали, колотили в дверь кулаками, не могли понять, что происходит.

Очутившись на краю, граф выпустил из рук оглобли, и домик покатился с обрыва вниз.

Он несся все быстрее, все неудержимее, ускоряя свой бег, прыгал, спотыкался, словно животное, бил по земле оглоблями.

Старик нищий, укрывшийся в овраге, видел, как деревянный ящик вихрем промчался над его головой, и услышал доносившиеся изнутри дикие крики.

Внезапно от сторожки толчком оторвало колесо, она повалилась набок и покатила дальше, как кубарь, как сорвавшийся с вершины горы дом. Достигнув последнего уступа, она подпрыгнула, описав дугу, рухнула на дно и раскололась, как яйцо.

Едва только она разбилась на каменистом дне оврага, как старик нищий, свидетель ее падения, потихоньку пробрался сквозь кустарники; по своей крестьянской осторожности он побоялся подойти к разлетевшемуся в щепки ящику и отправился на ближайшую ферму сообщить о случившемся.

Сбежались люди; подняли обломки: увидели два тела, разбитые, изувеченные, окровавленные. У мужчины был разможен череп, изуродовано все лицо. У женщины отвисла оторванная челюсть, и у обоих перебитые, раздробленные руки и ноги болтались, словно в них не было костей.

Однако их опознали; начались бесконечные толки о причинах несчастья.

— Что им там понадобилось, в будке-то? — заметила одна женщина.

Тогда нищий высказал предположение, что они спрятались там от ливня, а ветер, должно быть, налетел как бешеный, опрокинул и спихнул сторожку. Он пояснил, что и сам собирался укрыться там, но увидел лошадей, привязанных к оглоблям, и понял, что место занято.

Он добавил с довольным видом:

— Кабы не они, меня бы прихлопнуло.

— Оно, пожалуй, и лучше было б, — откликнулся какой-то голос.

Тогда старик страшно обозлился:

— Почему такое «лучше»? Что я бедняк, а они богачи?.. Так гляньте-ка на них теперь.

Весь дрожа, оборванный, промокший, грязный, с всклокоченной бородой и длинными космами, висевшими из-под рваной шляпы, он ткнул концом крючковой палки в оба трупа и сказал:

— Тут-то все мы равны.

Подоспели еще крестьяне и косились на трупы беспокойным, подозрительным, испуганным, корыстным и трусливым взглядом. Потом стали толковать, как поступить; решено было, в надежде на вознаграждение, отвезти обоих покойников к ним домой. Запрягли две тележки, но тут возникло новое осложнение. Одни хотели просто устлать дно повозки соломой, другие считали, что приличнее будет положить тюфяки.

Женщина, уже подававшая голос, крикнула:

— Да их потом и щелоком от крови не отмоешь.

На это возразил толстый фермер, с виду весельчак:

— Ведь за них же заплатят. Чем больше потратимся, тем больше получим.

Его довод убедил всех.

И две тележки на больших колесах без рессор отправились одна вправо, другая влево, встряхивая и подкидывая на каждом ухабе останки двух людей, которые недавно держали друг друга в объятиях, а теперь разлучились навсегда.

Как только граф увидел, что сторожка покатила с кручи, он бросился бежать со всех ног под дождем и ветром. Так бегал он несколько часов, пересекал дороги, перепрыгивал насыпи, ломал изгороди; он сам не помнил, как вернулся домой уже в сумерках. Испуганные слуги встретили его и сообщили, что обе лошади вернулись без всадников. Лошадь Жюльена последовала за лошадей Жильберты.

Господин де Фурвиль пошатнулся и проговорил прерывающимся голосом:

— Погода такая ужасная, что с ними, наверно, случилось несчастье. Немедленно разослать всех на розыски.

Сам он пошел тоже, но едва только скрылся из виду, как спрятался в кустарнике и стал смотреть на дорогу, в ту сторону, откуда, мертвой, или умирающей, или же искалеченной, изуродованной навсегда, должна была вернуться та, кого он все еще любил иступленно и страстно.

И вскоре мимо него проехала тележка с каким-то странным грузом.

Она остановилась перед оградой дома, потом въехала во двор. Да, это была она, это было оно. Но безумный испуг пригвоздил его к месту, боязнь узнать все, страх перед правдой; он не шевелился, притаившись, как заяц, и вздрагивал от малейшего шума.

Так прождал он час, а может быть, и два. Повозка не выезжала. Он решил, что жена его при смерти, и мысль увидеть ее, встретиться с ней взглядом вселила в него ужас; он испугался, что его убежище обнаружат, тогда ему придется вернуться, быть свидетелем ее агонии, и он убежал еще дальше, в самую глубь леса. Но вдруг он подумал, что ей, может быть, нужна помощь, а некому ухаживать за ней, и опрометью бросился назад.

На пути он встретил садовника и крикнул ему:

— Ну что?

Тот не решался ответить. Тогда г-н Фурвиль не спросил, а скорее проревел:

— Умерла?

И слуга пробормотал:

— Да, ваше сиятельство.

У него сразу отлегло от сердца. Небывалый покой проник в его кровь, во все сведенное судорогой тело; и он твердым шагом взошел на высокое крыльцо своего дома.

Вторая телега тем временем приехала в Тополя. Жанна издалека заметила ее, увидела тюфяк, угадала, что на нем лежит тело, и поняла все. Потрясение было так сильно, что она упала без чувств.

Когда она опомнилась, отец поддерживал ей голову и смачивал уксусом виски. Он

спросил нерешительно:

— Ты уже знаешь?..

— Да, отец, — прошептала она.

Но когда она попыталась встать, оказалось, что она не может подняться от боли.

В тот же вечер она родила мертвого ребенка, девочку.

Она не видела похорон Жюльена и ничего не знала о них. Она только заметила через день или два, что возвратилась тетя Лизон; и в лихорадочном бреде, терзавшем ее, она упорно силилась восстановить в памяти, когда, в какую пору и при каких обстоятельствах старая дева уехала из Тополей. И никак не могла припомнить, даже в минуты полного сознания, только знала твердо, что видела ее после кончины маменьки.

XI

Три месяца она не покидала своей спальни и до того побледнела и ослабела, что все уже потеряли надежду на ее выздоровление. Но мало-помалу она стала оживать. Папенька и тетя Лизон поселились в Тополях и не отходили от нее. После перенесенного потрясения у нее осталась болезненная нервозность; от малейшего шума она теряла сознание и впадала в долгий обморок по самым незначительным причинам.

Ни разу не спросила она подробностей о смерти Жюльена. Не все ли ей было равно? Она и так знала достаточно. Все, кроме нее, считали, что произошел несчастный случай. Она же хранила в душе мучительную тайну адюльтера и неожиданного зловещего появления графа в день несчастья.

Теперь душу ее переполняли умиленные, нежные и грустные воспоминания о недолгих радостях любви, когда-то подаренных ей мужем. Она поминутно вздрагивала от всплывавших в памяти картин и снова видела его таким, каков он был в пору жениховства и каким она любила его в считанные часы страсти, расцветшей для нее под знойным солнцем Корсики. Все недостатки сглаживались, все грубости исчезали, и даже измены смягчались по мере того, как отдалялась во времени закрывшаяся могила. Жанна была охвачена безотчетной посмертной благодарностью к человеку, который когда-то держал ее в объятиях, и прощала все перенесенные страдания во имя мгновений счастья. А время шло, месяцы следовали за месяцами, забвение, как слоем пыли, запорошило все ее воспоминания и горести, и она всецело отдала себя сыну.

Он стал кумиром, предметом всех помыслов трех людей, окружавших его; и царил он, как настоящий деспот. Между тремя его рабами возникала даже своего рода ревность, — Жанна нервничала, видя, какими звонкими поцелуями малыш награждал барона после катания верхом на его колене. Тетей Лизон и тут пренебрегали, как всегда: этот повелитель, еще не умевший говорить, иногда обращался с ней, как с прислугой, и она уходила к себе в комнату огорченная, сравнивая скудные ласки, которые выпадали на ее долю, с поцелуями, которыми он одаривал мать и деда.

Два тихих, не потревоженных никакими событиями года прошли в неустанных заботах о ребенке. В начале третьей зимы решено было переехать до весны в Руан; и все семейство сдвинулось с места. Но по прибытии в старый заброшенный и сырой дом Поль схватил такой сильный кашель, что опасались плеврита; родные встревожились и решили, что он может дышать только воздухом Тополей, и, едва он поправился, перевезли его туда.

И потянулись мирные, однообразные годы.

Постоянно вместе вокруг малыша, то в детской, то в гостиной, то в саду, они восторгались его лепетом, смешными словечками, жестами.

Мать звала его ласкательным именем Поле, а он не мог выговорить это слово и произносил его Пуле, что возбуждало нескончаемый смех. Прозвище так и осталось за ним, иначе его не называли.

Он очень быстро тянулся вверх, и самым увлекательным занятием для «трех мам», как говорил барон, было измерять его рост.

На дверном косяке гостиной делали перочинным но жом зарубки, отмечавшие его рост из месяца в месяц. Эта лесенка, именуемая «лесенкой Пуле»², занимала видное место в жизни всех домашних.

Со временем немаловажную роль в семье стал играть новый персонаж — пес Убой, которого Жанна в постоянных заботах о сыне совсем позабыла. Людивина кормила его, а жил он в старой бочке возле конюшни в полном одиночестве, всегда на цепи.

Как-то утром его заметил Поль и стал просить, чтобы ему позволили приласкать собаку. Его с величайшей опаской подвели к ней. Пес радостно приветствовал ребенка, а когда их хотели разлучить, мальчик принялся реветь. Пришлось снять с Убоя цепь и поселить его в доме.

Он стал неразлучным другом Поля. Они вместе катались по ковру и тут же засыпали рядышком. Немного погодя Убой укладывался уже в постель приятеля, потому что тот не желал расставаться с ним. Жанна приходила в ужас из-за блох, а тетя Лизон досадовала на пса, отнимавшего такую долю привязанности малыша, привязанности, которой так жаждала она сама и которую, казалось ей, воровало у нее животное.

Изредка происходил обмен визитами с Бризвилями и Кутелье. Уединение старого дома частенько нарушали только мэр и доктор. После убийства священником собаки и подозрений, связанных со страшной гибелью графини и Жюльена, Жанна не переступала порога церкви — в гневе на бога, который мог терпеть таких слуг.

Аббат Тольбиак время от времени в недвусмысленных намеках предавал анафеме дом, где обитает дух зла, дух вечного раздора, дух заблуждения и лжи, дух беззакония, распутства и нечестия. Так характеризовал он барона.

Впрочем, церковь его пустовала; а когда он проходил мимо полей, где пахари шли за плугом, они не останавливались, чтобы поговорить с ним, не оборачивались, чтобы поклониться ему. К тому же он слыл колдуном, потому что изгнал беса из припадочной. Толковали, что он умеет заговаривать от сглаза, который, по его словам, был одной из козней дьявола. Он возлагал руки на коров, которые давали жидкое молоко или завивали хвост кольцом, и помогал отыскивать пропавшие вещи, произнося какие-то таинственные слова.

По свойственной ему фанатической ограниченности он со страстью предавался изучению религиозных писаний, где говорилось о пребывании дьявола на земле, о многообразных проявлениях его власти, о различных видах его тайного воздействия, о всех его уловках и обычных приемах его коварства. А так как аббат почитал себя особо призванным бороться с этой роковой и загадочной властью, то затвердил все формулы заклинаний, указанные в богословских книгах.

Ему все чудилась блуждающая во мраке тень лукавого, и с языка его почти не сходило латинское изречение:» Sicut leo rugiens circuit quaerens quem devoret»³.

И постепенно начал распространяться страх, ужас перед его скрытым могуществом. Даже собратья его, невежественные деревенские священники, для которых Вельзевул — догмат веры, которые до того сбиты с толку подробнейшими указаниями ритуала на случай проявления власти злого духа, что под конец не могут отличить религию от магии, и те считали аббата Тольбиака до некоторой степени колдуном; они приписывали ему таинственную силу и уважали за нее не меньше, чем за безупречную его нравственность.

При встречах с Жанной он не кланялся ей.

Такое положение волновало и огорчало тетю Лизон; пугливой душе старой девы непонятно было, как можно не посещать церковь. Она-то, по всей вероятности, была набожна и, по всей вероятности, ходила к исповеди и причастию, но никто этого не знал и не хотел знать.

² Poulet — цыпленок (франц).

³ Как лев рыкающий, бродит он, ищет, кого бы пожрать (лат.).

Если она оставалась одна, совсем одна с Полем, она потихоньку говорила ему о «боженьке». Когда она рассказывала чудесные истории о сотворении мира, он хоть немножко слушал ее; но когда она говорила ему, что надо очень, очень любить боженку, он задавал, вопрос:

— А где он, тетя?

Тогда она показывала на небо:

— Там, вверху, Пуле, только не говори об этом.

Она боялась барона.

Но однажды Пуле объявил ей:

— Боженка — он везде, только в церкви его нет.

Он явно сообщил деду о религиозных откровениях тетки.

Мальчику шел десятый год; матери его казалось на вид лет сорок. Он был крепыш, непоседа; мастер лазить по деревьям, но знал он немного. Уроки были ему скучны, он спешил улизнуть из классной комнаты. И каждый раз, как барон пытался подольше удержать его за книгой, тотчас же появлялась Жанна и говорила:

— Пусти его погулять, незачем утомлять такого малыша.

В ее представлении ему все еще было полгода или год. Она с трудом отдавала себе отчет, что он ходит, бегает, говорит, как маленький мужчина; и жила она в постоянном страхе, как бы он не упал, не простудился, не разгорячился от игр, не съел слишком много во вред желудку или слишком мало во вред росту.

Когда ему исполнилось двенадцать лет, возник сложный вопрос о первом причастии.

Однажды утром Лиза явилась к Жанне и стала доказывать, что нельзя дольше оставлять ребенка без религиозного воспитания, без выполнения первых обязанностей христианина. Она приводила всяческие аргументы, выставляла тысячи доводов и, в первую очередь, ссылалась на мнение общества. Мать смущалась, терялась, колебалась, уверяла, что время терпит.

Но месяц спустя, когда она была с визитом у графини де Бризвиль, почтенная дама, между прочим, спросила ее:

— Ваш Поль, вероятно, в этом году пойдет к причастию?

И Жанна, застигнутая врасплох, ответила:

— Да, сударыня.

После этих случайных слов она решилась и тайком от отца попросила Лизу водить мальчика на уроки закона божия.

Месяц все шло хорошо; но как-то вечером Пуле вернулся охрипшим. На другой день он кашлял. Перепуганная мать стала расспрашивать его и узнала, что кюре отправил его дожидаться конца урока за дверями церкви, на паперти, на сквозняке, потому что он плохо вел себя.

Больше она не посылала его на уроки и сама стала преподавать ему начатки религии. Но аббат Тольбиак, несмотря на мольбы тети Лизон, не принял его в число причастников, как недоучившегося.

То же произошло и на следующий год. Тогда барон в ярости заявил, что мальчик может вырасти порядочным человеком и без веры в эту нелепость — в наивный догмат пресуществления; решено было, что его воспитают в христианском духе, но без соблюдения католических обрядов, а когда он достигнет совершеннолетия, то сам будет волен выбирать свой путь.

Через некоторое время Жанна нанесла визит Бризилиям, однако ответного визита не последовало. Она удивилась, зная шепетильную учтивость соседей, но маркиза де Кутелье свысока дала объяснение такому невниманию.

Ввиду высокого положения мужа, а также подлинной своей родовитости и своего внушительного состояния, маркиза почитала себя чуть не королевой нормандской аристократии и правила, как истинная королева, говорила все без стеснения, смотря по обстоятельствам бывала милостива или резка, во все вмешивалась, наставляла, поощряла,

порицала. И вот, когда Жанна явилась к ней, она после нескольких холодных слов произнесла сухим тоном:

— Общество делится на две категории: на людей, верующих в бога, и тех, кто не верит в него. Первые, даже из числа самых обездоленных, друзья и ровня нам, вторые для нас не существуют.

Жанна попыталась отразить удар:

— А разве нельзя верить в бога, не бывая в церкви?

— Нет, сударыня, — ответила маркиза. — Верующие ходят молиться богу в его храм, как мы ходим к людям в их дом.

Жанна возразила в обиде:

— Бог везде, сударыня. Я, например, всей душой верую в его милосердие, но есть такие священники, которые мешают мне ощущать присутствие господя, когда они становятся между ним и мною.

Маркиза встала.

— Священник — знаменосец церкви, сударыня. Кто не следует за знаменем, тот против него и против нас.

Жанна тоже встала, вся дрожа.

— Вы, сударыня, верите в бога одной касты. Я верую в бога честных людей.

Она поклонилась и вышла.

Крестьяне тоже осуждали ее между собой за то, что она не повела Пуле к первому причастию. Сами они не, бывали в церкви, не ходили к причастию или уж приобщались только на пасху, подчиняясь строгому предписанию церкви; но ребята — дело другое: никто бы не осмелился воспитать ребенка вне общего для всех закона, потому что религия есть религия.

Жанна чувствовала их осуждение и в душе возмущалась этим двуличием, сделками с совестью, поголовным страхом перед всем, величайшей трусостью, гнездящейся во всех сердцах и выглядывающей наружу под личиной порядочности.

Барон занялся образованием Поля и засадил его за латынь. А мать не переставала твердить одно: «Пожалуйста, не утомляй его!» — и бродила в тревоге около классной комнаты, куда папенька запретил ей доступ, потому что она ежеминутно прерывала урок вопросом: «У тебя не озябли ноги. Пуле?» Или же: «У тебя не болит голова, Пуле?» Или останавливала учителя: «Не заставляй его столько говорить, он охрипнет».

Как только мальчик кончал занятия, он бежал в сад к матери и тете. Им теперь очень полюбили садоводство: все трое сажали весной молодые деревца, сеяли семена и с восторгом наблюдали за их всходами и ростом, подравнивали ветки, срезали цветы для букетов.

Больше всего увлекало мальчика разведение салата. Он ведал четыремя большими грядками на огороде, где с величайшей заботливостью выращивал салат латук, ромэн, цикорий, парижский, — словом, все сорта этой съедобной травы. Он копал, поливал, полон, пересаживал с помощью двух своих матерей, которых заставлял работать, как поденщиц. По целым часам стояли они на коленях между грядками, пачкая платья и руки, и втыкали корешки рассады в ямку, проделанную пальцем в земле.

Пуле подрастал, ему шел уже пятнадцатый год, и лесенка в гостиной показывала метр пятьдесят восемь сантиметров, но по уму он был совершенный ребенок, неразвитый, невежественный, избалованный двумя женщинами и стариком, добрым, но отставшим от века.

Как-то вечером барон поднял наконец вопрос о коллеже, и Жанна тотчас же ударилась в слезы. Тетя Лизон в ужасе забилась в темный угол.

Мать возражала:

— Зачем ему столько знать? Мы сделаем из него деревенского жителя, помещика. Он будет возделывать свои земли, как многие из дворян. Он проживет и состарится счастливым в этом доме, где до него жили мы, где мы умрем. Чего же желать еще?

Но барон качал головой:

— А что ты ответишь ему, если он в двадцать пять лет придет и скажет тебе: «Я остался ничем, я ничему не научился по твоей вине, по вине твоего материнского эгоизма. Я не способен работать, добиваться чего-то, а между тем я не был создан для безвестной, смиренной и до смерти тоскливой жизни, на которую обрекла меня твоя неразумная любовь».

А она все плакала и взывала к сыну:

— Скажи, Пуле, ты никогда не упрекнешь меня за то, что я слишком любила тебя, ведь правда, не упрекнешь?

Недоросль удивился, но обещал:

— Нет, мама.

— Честное слово?

— Да, мама.

— Ты хочешь остаться здесь, правда?

— Да, мама.

Тогда барон возвысил голос:

— Жанна, ты не имеешь права распоряжаться человеческой жизнью. Ты поступаешь недостойно, почти преступно, ты жертвуешь своим ребенком ради своего личного счастья.

Она закрыла лицо руками и, судорожно рыдая, выговорила сквозь слезы:

— Я так настрадалась... так настрадалась! Я только в нем нашла утешение, а его у меня отнимают. Что же я теперь... буду делать... совсем одна?

Отец поднялся, сел рядом с ней, обнял ее.

— А я, Жанна?

Она обхватила его за шею, страстно поцеловала и, не отдышавшись еще, с трудом проговорила:

— Да, ты, должно быть... прав... папенька. Я вела себя безрассудно, но я столько выстрадала. Пускай он едет в коллеж.

И Пуле, не вполне понимая, что с ним намерены делать, захныкал, в свой черед.

Тогда все три его мамы принялись целовать, ласкать, утешать его. Когда они пошли спать, у всех щемило сердце, и все всплакнули в постели, даже барон, который сдерживался до тех пор.

Решено было, что после каникул мальчика поместят в Гаврский коллеж, а пока все лето его баловали напропалую.

Мать часто вздыхала при мысли о разлуке. Она заготовила ему такое приданое, как будто он уезжал путешествовать на десять лет; наконец, в одно октябрьское утро, после бессонной ночи, обе женщины и барон уселись с мальчиком в карету, и пара лошадей сразу взяла рысью.

В предшествующую поездку ему уже было выбрано место в дортуаре и место в классе. Теперь Жанна с помощью тети Лизон целый день укладывала его вещи в маленький комодик. Так как он не вместил и четверти привезенного, Жанна пошла к директору просить, чтобы дали второй. Вызвали эконома, тот заявил, что столько белья и платья никогда не понадобится, а будет только помехой, и наотрез отказался нарушить правила и поставить второй комод. Тогда мать с отчаяния решила нанять комнату в соседней гостинице и поручила хозяину собственноручно приносить по первому требованию Пуле все, что ему понадобится.

Потом они отправились на мол посмотреть, как отчаливают и пристают пароходы.

Унылые сумерки спустились над городом, где постепенно зажигались огни. Обедать они пошли в ресторан. Есть не хотелось никому; они смотрели друг на друга затуманенным взглядом, и блюда, которые подавали одно за другим, убирались почти нетронутыми.

Потом они медленно направились к коллежу. Со всех сторон сходились дети всех возрастов в сопровождении родных или слуг. Многие плакали. В большом полуосвещенном дворе раздавались всхлипывания.

Жанна и Пуле долго сжимали друг Друга в объятиях. Тетя Лизон, окончательно забытая, стояла позади, уткнувшись в носовой платок. Но тут барон, расчувствовавшись тоже положил конец прощанию и увел дочь. Карета ждала у подъезда. Они уселись втроем и в темноте поехали обратно в Тополя.

Временами во мраке слышались рыдания.

Жанна плакала весь следующий день до вечера. А утром она велела заложить фаэтон и поехала в Гавр.

Пуле как будто уже примирился с разлукой. Впервые в жизни у него были товарищи; ему хотелось играть, и он нетерпеливо ерзал на стуле в приемной.

Жанна стала ездить каждые два дня, а на воскресенье увозила его домой. Во время уроков, дожидаясь рекреаций, она не знала, что ей делать, и сидела в приемной, не находя ни сил, ни мужества уйти из коллежа. Директор пригласил ее к себе и попросил приезжать пореже. Она пренебрегла его указанием.

— Тогда он предупредил ее, что будет вынужден вернуть ей сына, если она не даст ему резвиться в свободные часы и не перестанет отвлекать его от занятий; барона тоже предупредили письмом. После этого ее стали стеречь в Тополях, как пленницу.

Она ждала каждого праздника с большим нетерпением, чем сын. И душу ее томила неустанная тревога. Она бродила по окрестностям, целыми днями гуляла с псом Убоем, отдаваясь беспредметным мечтам. Иногда она просиживала полдня, глядя на море с высоты крыжа; иногда спускалась лесом до Ипора, повторяя давние прогулки, воспоминание о которых преследовало ее. Как далеко, как далеко было то время, когда она блуждала по этим местам девушкой, опьяненной грезами.

Всякий раз, как она виделась с сыном, ей казалось, что они были в разлуке десять лет. Он мужал с каждым месяцем; она с каждым месяцем старела. Барона можно было счесть за ее брата, а тетю Лизон за старшую сестру, потому что, увянув в двадцать пять лет, Лизон больше не менялась.

Пуле совсем не занимался. В четвертом классе он остался на второй год; третий вытянул кое-как; во втором опять сидел два года и только к двадцати годам добрался до класса риторики.

Он превратился в рослого белокурого юношу с довольно пышными бачками и намеком на усы. Теперь он сам приезжал на воскресенье в Тополя. Так как он уже давно обучался верховой езде, то попросту нанимал лошадь и проделывал весь путь за два часа.

Жанна спозаранку отправлялась ему навстречу вместе с теткой и бароном, который горбился все больше и ходил по-стариковски, заложив руки за спину, словно для того, чтобы не упасть ничком.

Они медленно шли по дороге, временами присаживались у обочины и смотрели вдаль; не видно ли уже всадника. Едва он показывался черной точкой на белой колее, как все трое принимались махать платками, а он пускал лошадь в галоп и вихрем подлетал к ним; Жанна и Лизон ужасались, а дед восхищался и в бессильном восторге кричал «браво».

Хотя Поль был на голову выше матери, она по-прежнему обращалась с ним, как с младенцем, и все еще спрашивала: «У тебя не озябли ноги. Пуле?» — а когда он прогуливался после завтрака перед крыльцом, куря папироску, она открывала окно и кричала ему: «Ради бога, не ходи с непокрытой головой, ты схватишь насморк».

Когда же он в темноте отправлялся верхом обратно, она дрожала от страха:

— Пуле, мальчик мой, поезжай потише, береги себя, пожалей свою мать. Я не вынесу, если с тобой стряется беда.

Но вот однажды, в субботу утром, она — получила от Поля письмо, в котором он сообщал, что не приедет завтра, потому что знакомые устраивают пикник и пригласили его.

Весь воскресный день она терзалась беспокойством, как будто ждала неминуемой беды; потом не выдержала и в четверг поехала в Гавр.

Ей показалось, что сын изменился, но в чем — она не могла понять. Он был оживлен, говорил более мужественным голосом. И вдруг объявил ей как нечто вполне естественное:

— Знаешь, мама, раз ты побывала здесь сегодня, я опять не приеду в воскресенье домой, потому что мы собираемся повторить прогулку.

Она была так ошеломлена и потрясена, словно он сообщил, что уезжает в Америку; наконец, придя в себя, она спросила:

— Боже, что с тобой, Пуле? Скажи мне, что происходит?

Он засмеялся и поцеловал ее:

— Ровно ничего, мама. Я хочу повеселиться с приятелями, это естественно в моем возрасте.

Она не нашла ответа, а когда очутилась одна в экипаже, странные мысли овладели ею. Она не узнавала своего Пуле, своего прежнего маленького Пуле. Впервые она увидела, что он стал взрослым, что он больше не принадлежит ей и будет впредь жить по-своему, не думая о стариках. Ей казалось, что он преобразился в один день Как, этот большой, статный мужчина, утверждающий свою волю, — ее сын, ее дорогой малыш, который заставлял ее когда-то рассаживать салат!

В течение трех месяцев Поль приезжал к родным только изредка и всегда явно стремился уехать как можно скорее, выгадать вечером хотя бы часок. Жанна волновалась, а барон только и знал, что утешал ее, повторяя

— Оставь ты мальчика, ведь ему двадцать лет.

Но как-то утром бедно одетый старик, говоривший с немецким акцентом, спросил госпожу виконтессу.

После многократных церемонных поклонов он достал из кармана засаленный бумажник и заявил:

— Это маленький бумажка для вас.

Он развернул клочок грязной бумаги и протянул ей. Жанна прочла, перечла, взглянула на еврея, перечла снова и спросила:

— Что это значит?

Старик угодливо объяснил;

— Сейчас я буду вам сказать Ваш сын, ему был нужен немного деньги, а я знал, что вы добрая мать, и давал ему, сколько ему было нужно, — самый пустяк.

Она вся дрожала

— Но почему же он не попросил лучше у меня?

Еврей начал пространно объяснять, что речь шла о карточном долге, который надо было заплатить на следующий день, и что никто бы не дал займы Полю, как несовершеннолетнему, «честь молодого человека был бы загублен», если бы не «маленький одолженьице», оказанное им

Жанна хотела позвать барона, но от волнения ноги не слушались ее. Наконец она сказала ростовщику:

— Будьте любезны позвонить.

Он колебался, боясь ловушки. Затем пробормотал

— Я могу приходить потом, если вам неудобно.

Она отрицательно покачала головой Он позвонил, и они стали ждать, сидя молча друг против друга

Барон сразу же, как пришел, понял положение Расписка была на полторы тысячи франков. Он уплатил тысячу и сказал, глядя в упор на ростовщика:

— Смотрите, больше не являйтесь

Тот поблагодарил, поклонился и исчез.

Дед и мать тотчас же отправились в Гавр; но, приехав в коллеж, они узнали, что Поль целый месяц не являлся туда. Директор получил четыре письма за подписью Жанны, где сообщалось о болезни Поля, а затем о состоянии его здоровья; ко всем письмам были приложены свидетельства от врача, разумеется, подложные, как и все остальное.

Оба были сражены и застыли на месте, глядя друг на друга.

Директор выразил огорчение и проводил их к полицейскому комиссару. Они остались

ночевать в гостинице.

На следующее утро молодого человека нашли у местной проститутки. Дед и мать увезли его в Тополя, и всю дорогу никто из них не проронил ни слова. Жанна плакала, уткнув лицо в носовой платок. Поль с равнодушным видом смотрел по сторонам.

В последующую неделю обнаружилось, что за три месяца он наделал долгов на пятнадцать тысяч франков. Кредиторы не спешили объявляться, зная, что он скоро будет совершеннолетним.

Никаких объяснений не произошло. Решено было подкупить его добротой. Его закармливали деликатесами, нежили, баловали. Дело было весной; несмотря на все страхи Жанны, ему наняли в Ипоре лодку, чтобы он мог, когда хотел, кататься по морю.

Лошади ему не давали, боясь, что он опять поедет в Гавр.

Он слонялся без дела, раздражался, иногда грубил. Барона беспокоило, что он не кончил курса. Жанна сходила с ума при мысли о новой разлуке и все-таки задумывалась над тем, как с ним быть дальше.

Однажды вечером он не вернулся домой. Выяснилось, что он вышел в море на баркасе с двумя матросами. Обезумевшая мать ночью с непокрытой головой побежала в Ипор.

На берегу несколько человек поджидали возвращения судна.

Вдали показался огонек. Он приближался, мигая. Поля на борту не оказалось. Он высадился в Гавре.

Сколько ни искала полиция, найти его не удалось. Проститутка, у которой он скрывался в первый раз, тоже исчезла бесследно, продав обстановку и уплатив за квартиру. В комнате Поля в Тополях обнаружили два письма от этой особы, из которых явствовало, что она без ума от него. Она предлагала ему уехать в Англию, для чего, по ее словам, добыла нужные средства.

Трое обитателей старого дома ходили угрюмые и молчаливые, живя в мрачном аду душевных пыток. Волосы Жанны, и без того седые, побелели совсем. Она задавала себе наивный вопрос: за что ее так наказывает судьба?

Она получила письмо от аббата Тольбиака:

«Сударыня, десница божия покарала вас. Вы отняли у господина свое дитя; он, в свой черед, взял его у вас, чтобы отдать проститутке. Неужто этот урок, преподанный вам свыше, не вразумит вас? Милосердие господне беспредельно. Быть может, господь помилует вашу если вы вернетесь к нему и падете перед ним ниц. Я, его смиренный слуга, отворю вам дверь его обители, когда вы постучитесь в нее».

Долго сидела она, опустив это письмо на колени. Быть может, священник говорил правду? И все религиозные недоумения вновь принялись терзать ее совесть. Может ли бог быть мстителем и завистливым, как люди? Но если он не покажет себя завистливым, никто не устрасится его и не станет поклоняться ему. Возможно, он обнаруживает перед смертными свойственные им чувства для того, чтобы мы лучше познали его. Трусливое сомнение, толкающее в церковь колеблющихся, смятенных, проникло в нее, и однажды вечером, когда стемнело, она украдкой побежала в церковный дом и, припав к ногам тощего аббата, стала молить об отпущении грехов.

Он обещал ей половинное прощение, ибо бог не может излить всю свою благодать на кров, под которым находит приют такой человек, как барон.

— Вскоре вы ощутите, — заверил он, — плоды божественного милосердия.

И в самом деле, два дня спустя сын прислал ей письмо; в помрачении от горя она восприняла его как поворот к лучшему, обещанный аббатом.

«Дорогая мама, не беспокойся обо мне. Я нахожусь в Лондоне, вполне здоров, но очень нуждаюсь в деньгах. У нас не осталось ни гроша, и мы не каждый день бываем сыты. Спутница моя, которую я люблю всей душой, истратила все, что имела, — пять тысяч франков, — лишь бы не расстаться со мной. Ты понимаешь, что честь обязывает меня прежде всего возместить ей эту сумму. Будь так добра, не откажи одолжить мне тысячу пятнадцать из наследства, оставленного папой, так как все равно я скоро буду

совершеннолетним. Ты выручишь меня из большого затруднения.

Прощай, дорогая мама, от всего сердца целую тебя, а также дедушку и тетю Лизон. Надеюсь, до скорого свидания.

Твой сын
виконт Поль де Ламар».

Он написал ей! Значит, он не забыл ее. Она и не подумала о том, что он просил денег. Надо послать ему, раз у него ничего не осталось. Какое значение имеют деньги! Он написал ей!

И она в слезах побежала с письмом к барону. Позвали тетю Лизон и перечитали слово за словом бумажку, говорившую о нем; обсудили каждое выражение.

Жанна мгновенно перешла от полного отчаяния к опьянению надеждой и горячо защищала Поля:

— Он вернется, скоро вернется, раз он написал нам!

Но барон, человек более уравновешенный, возразил:

— Все равно он нас бросил из-за этой твари. Раз он не задумался поступить так, значит, он любит ее больше нас.

Внезапная страшная боль впилась в сердце Жанны, и тотчас же в нем вспыхнула ненависть к любовнице, похитившей у нее сына, ненависть неутолимая, необузданная, ненависть ревнивой матери. До тех пор все ее мысли были сосредоточены на Поле. Она почти не думала о потаскушке, виновнице его заблуждений. Но слова барона сразу же напомнили матери о сопернице, показали ее роковую власть; она почувствовала, что между этой женщиной и ею начинается ожесточенная борьба, и осознала, что скорее согласится потерять сына, чем делить его с другой.

Вся ее радость разлетелась в прах.

Они послали требуемые пятнадцать тысяч франков и целых пять месяцев не получали больше вестей.

Потом явился поверенный урегулировать вопрос о наследстве, оставленном Жюльеном. Жанна и барон беспрекословно сдали все счета и даже отказались от права матери на пожизненное пользование имуществом. По возвращении в Париж Поль получил сто двадцать тысяч франков. После этого он прислал за полгода четыре письма, давая краткие сведения о своей жизни и заканчивая холодными изъявлениями сыновних чувств. «Я работаю, — уверял он, — получил должность на бирже. Надеюсь как-нибудь приехать в Тополя и расцеловать вас, дорогие!»

О своей возлюбленной он не упоминал ни слова. Это молчание было многозначительнее, чем могло быть целое письмо, наполненное ею. За ледяными строками Жанна чувала незримое и неотвратимое присутствие любовницы, продажной девки — истонного врага матерей.

Трое отшельников толковали, как быть, чтобы спасти Поля, и ничего не могли придумать. Съездить в Париж? К чему?

— Пусть перегорит его страсть, — говорил барон, — тогда он сам вернется к нам.

И они продолжали влачить жалкую жизнь.

Жанна и Лизон тайком от барона ходили в церковь.

Довольно долгое время прошло без всяких известий, как вдруг однажды утром они были ошеломлены отчаянным письмом:

«Дорогая мама, я погиб, мне остается лишь пустить себе пулю в лоб, если ты не спасешь меня. Только что потерпела крах комбинация, сулившая мне верную прибыль, я задолжал восемьдесят пять тысяч франков. Если я не заплачу, меня ждет бесчестье, разорение, невозможность что-либо предпринять в дальнейшем. Я погиб. Повторяю, что я скорее готов пустить себе пулю в лоб, чем пережить такой позор. Быть может, я бы уже покончил с собой, если бы не поддержка женщины, о которой я никогда не пишу тебе, но которая стала моим провидением.

От души целую тебя, дорогая моя мама, быть может, в последний раз. Прощай.

Поль».

К письму была приложена пачка деловых бумаг с исчерпывающими разъяснениями катастрофы

Барон ответил обратной почтой, что они постараются все уладить. Затем он поехал в Гавр выяснять положение дел и тут же заложил земли, чтобы добыть денег для отправки Полю.

Молодой человек прислал в ответ три письма, наполненных выражениями восторженной благодарности и нежнейших чувств, а также обещаниями приехать вскоре и лично обнять своих дорогих родственников.

Он не приехал.

Прошел целый год.

Жанна и барон собирались уже отправиться в Париж и сделать последнюю попытку образумить его, как вдруг из короткой записки узнали, что он опять находится в Лондоне, где организует пароходную компанию под фирмой «Поль Деламар и Кё». Он писал:

«Это верное обеспечение, а возможно, даже и богатство. И при этом я ничем не рискую. Отсюда вам ясны все выгоды. При следующей нашей встрече я буду занимать блестящее положение в свете. В наш век только с помощью коммерции можно встать на ноги».

Через три месяца пароходное общество обанкротилось, и директор был привлечен к ответственности за неправильности в счетоводстве. С Жанной случился нервный припадок, который продолжался несколько часов, после чего она слегла.

Барон опять поехал в Гавр, навел справки, посоветовался с адвокатами, поверенными, стряпчими, судебными приставами, узнал, что дефицит общества «Деламар» составляет двести тридцать пять тысяч франков, и перезаложил свою недвижимость. На имение Тополя и две прилегающие фермы лег громадный долг.

Раз вечером, улаживая последние формальности в конторе поверенного, барон внезапно рухнул на паркет: с ним случился апоплексический удар. За Жанной послали верхового. Когда она приехала, отец уже скончался.

Она привезла его в Тополя, до того ошеломленная, что горе ее скорее походило на столбняк, чем на отчаяние.

Аббат Тольбиак запретил телу доступ в церковь, несмотря на иступленные мольбы обеих женщин. Барон был похоронен под вечер, без всякого религиозного обряда.

Поль узнал о несчастье от одного из ликвидаторов его обанкротившегося предприятия. Он все еще скрывался в Англии. Он письменно попросил прощения, что не приехал, так как слишком поздно узнал о постигшем их горе. «Впрочем, после того как ты выручила меня, дорогая мама, я могу вернуться во Францию и вскоре обнять тебя».

Жанна была в таком подавленном состоянии, что, казалось, ничего уже не воспринимала.

К концу зимы тетя Лизон, которой минуло шестьдесят восемь лет, заболела бронхитом, перешедшим в воспаление легких, и тихо угасла, шепча:

— Жанна, бедняжка моя, я вымолю у господ, чтобы он смилостивился над тобой!

Жанна проводила ее на кладбище, видела, как засыпают гроб землей, и когда сама она поникла без сил, с одним желанием умереть тоже, не страдать, не думать больше, какая-то рослая крестьянка подхватила ее и понесла в своих могучих объятиях, точно малое дитя

По возвращении домой Жанна, проведшая пять ночей у постели старой девы, беспрекословно отдала себя в ласковые и властные руки этой незнакомой крестьянки, которая сразу же уложила ее, и она уснула глубоким сном, изнуренная усталостью и горем.

Проснулась она среди ночи. На камине горел ночник. В кресле спала женщина. Кто же была эта женщина? Жанна не узнавала ее и вглядывалась, перегнувшись через край кровати, стараясь различить ее черты при мерцающем огоньке фитиля, который плавал на поверхности масла, налитого в стеклянный стаканчик.

Однако ей как будто уже случалось видеть это лицо Но когда? И где? Женщина спала

мирно, голова ее нагнулась к плечу, а чепец упал на пол. С виду ей было лет сорок-сорок пять. Это была плотная, румяная, коренастая, крепкая крестьянка. Большие руки ее свешивались по обеим сторонам кресла. Волосы были с проседью. Жанна пристально смотрела на нее, не вполне владея мыслями после лихорадочного сна, какой обычно наступает вслед за большим душевным потрясением.

Да, конечно же, она видела это лицо. Но давно ли? Или недавно? Она не помнила, и эта неопределенность раздражала, мучила ее. Она потихоньку встала, чтобы поближе взглянуть на спящую, и на цыпочках подошла к ней. Женщина была та же самая, которая подняла ее на кладбище и потом уложила в постель. Это все смутно припомнилось ей.

Но встречала ли она ее раньше, в другую пору своей жизни? Или лицо женщины было ей знакомо по туманным впечатлениям прошедшего дня? И каким образом, почему она очутилась в ее спальне?

Женщина открыла глаза, увидела Жанну и вскочила на ноги. Они стояли лицом к лицу, так близко, что грудью касались друг друга. Незнакомка заворчала:

— Это что еще? Вы чего встали? Смотрите, вы у меня расхвораетесь. Ступайте в постель.

— Кто вы такая? — спросила Жанна.

Но женщина протянула руки, схватила ее, подняла снова с не женской силой и отнесла на кровать. Она бережно уложила ее, низко наклонившись, почти лежа на ней, и вдруг расплакалась и принялась судорожно целовать ее щеки, волосы, глаза, заливая ей слезами лицо и приговаривая:

— Барышня моя бедненькая, мамзель Жанна, бедненькая моя барышня, неужто вы не узнали меня?

— Тозали, голубушка! — вскрикнула Жанна.

И, обхватив руками ее шею, прижалась к ней, начала ее целовать; теперь они плакали обе, крепко обнявшись, мешая свои слезы, и никак не могли оторваться друг от друга.

Первой успокоилась Розали.

— Ну, ну, будьте умницей, — сказала она, — а не то простудитесь.

Она расправила и подвернула одеяло, подложила подушку под голову своей бывшей госпожи, которая все еще рыдала, дрожа от всплывавших в душе старых воспоминаний.

— Как же ты вернулась, голубушка? — спросила она наконец.

— Господи, да как же мне было оставить вас теперь, совсем одну! — ответила Розали.

— Зажги свечу, я хочу видеть тебя, — попросила Жанна.

После того как свеча была поставлена на ночной столик, они долго молча смотрели друг на друга. Потом Жанна пожала руку своей бывшей горничной и прошептала:

— Я ни за что бы не узнала тебя, голубушка. Ты очень изменилась, хотя, конечно, меньше меня.

И Розали отвечала, глядя на эту седую, высохшую, увядшую женщину, которую она оставила молодой, красивой, цветущей:

— Что верно, то верно, вы переменялись, мадам Жанна, даже не по летам. Но и то подумайте — ведь не виделись мы двадцать четыре года.

Они замолчали и снова задумались.

— А ты-то хоть была счастлива? — шепнула наконец Жанна.

И Розали, боясь пробудить какое-нибудь уж очень тяжелое воспоминание, проговорила с запинкой:

— Да... была... была. Я жаловаться не могу... Мне, конечно, посчастливилось больше вашего. Одно только мутило мне душу — отчего я не осталась здесь...

Она оборвала на полуслове, спохватившись, что необдуманно коснулась запретного. Но Жанна продолжала мягко:

— Что поделаешь, голубушка. Не всегда приходится делать то, что хочется. Ты ведь овдовела тоже?

Потом голос ее дрогнул, и она с трудом выговорила:

— У тебя есть еще... еще дети?

— Нет, сударыня.

— А он, сын твой, что из него вышло? Ты им довольна?

— Да, сударыня, он славный парень. К работе усерден. Он полгода, как женился и хочет взять на себя ферму, раз я вернулась к вам.

Дрожа от волнения, Жанна прошептала:

— Значит, ты больше не покинешь меня, голубушка?

— Понятно, нет, сударыня, я уж распорядилась на этот счет, — грубоватым тоном ответила Розали.

Они помолчали некоторое время, Жанна против воли вновь сравнивала их две жизни, но без горечи в сердце, смирившись с несправедливой жестокостью судьбы. Она спросила только:

— А муж тебя не обижал?

— Нет, он был человек хороший, работающий и добра сумел скопить. Он чахоткой умер. Жанна села на кровати, ей захотелось узнать все.

— Слушай, голубушка, расскажи мне все, всю твою жизнь. Мне это будет приятно сегодня.

Розали пододвинула стул, уселась и начала рассказывать о себе, о своем доме, о своем мире, вдаваясь в мельчайшие подробности, дорогие сердцу деревенских жителей, описывала свою усадьбу, временами смеялась событиям уже давним, но связанным с приятными минутами жизни, и мало-помалу повышала голос по привычке хозяйки, заправлявшей всем в доме. Под конец она заявила:

— Ну, у меня теперь добра хватит. Мне бояться нечего.

Потом смутилась снова и добавила потише:

— Как-никак, а я всем этим вам обязана, потому я и жалованья от вас не хочу. Нипочем не хочу! Если вы не согласны, я уйду.

— Что ж, ты думаешь служить мне даром? — спросила Жанна.

— Вот именно что даром, сударыня. На что мне ваши деньги? У меня своих не меньше, чем у вас. Да вы-то сами знаете, сколько у вас осталось от всей канители с закладами да с займами, когда и проценты-то не внесены и растут к каждому платежу? Не знаете? Верно? Ну так я вам скажу. У вас навряд ли осталось десять тысяч ливров дохода. И десяти-то не осталось, понимаете? Ну, да я это все скоро налажу, не сомневайтесь.

Она опять заговорила громко, раздражаясь, возмущаясь небрежностью в уплате процентов и угрозой разорения. Увидев тень умиленной улыбки на губах своей госпожи, она вскричала гневно:

— Над этим смеяться нечего, сударыня, без денег порядочные люди не живут.

Жанна взяла ее руки и не выпускала их; потом произнесла медленно, во власти одной неотступной мысли:

— А мне-то, мне как не повезло. Все для меня обернулось худо. Какой-то рок преследовал меня.

Но Розали покачала головой;

— Не надо, сударыня, не говорите так. Вам попался плохой муж, только и всего. Да правду сказать, разве можно выходить замуж, не узнавши толком своего нареченного.

И они продолжали говорить о себе, как две старинные подруги.

Солнце взошло, а они все еще разговаривали.

XII

Розали в неделю крепко прибрала к рукам все и всех в доме. Жанна, покорная судьбе, подчинялась равнодушно. Ослабев и волоча ноги, как покойная маменька, она выходила под руку со своей служанкой, и та медленно водила ее, увещевала, ободряла грубоватыми и ласковыми словами, обращаясь с ней, как с больным ребенком.

Говорили они только о прошлом: Жанна — со слезами в голосе, Розали-с чисто крестьянской спокойной невозмутимостью. Она несколько раз возвращалась к вопросу о задержке в уплате процентов, затем потребовала, чтобы несведущая в делах Жанна передала ей документы, которые та скрывала от нее, стыдясь за сына.

После этого Розали целую неделю ездила каждый день в Фекан, чтобы разобраться во всем с помощью знакомого нотариуса.

Затем однажды вечером, уложив свою госпожу в постель, она сама села у изголовья и начала напрямик:

— Вот вы теперь легли, сударыня, давайте мы с вами потолкуем.

И она объяснила положение дел. После всех расчетов останется рента в семь-восемь тысяч франков. Только и всего.

— О чем ты тревожишься, голубушка? Я чувствую» что мне недолго жить. На мой век этого хватит, — ответила Жанна.

Но Розали рассердилась.

— На ваш-то, может, и хватит, а господину Полю вы, значит, ничего не оставите?

Жанна содрогнулась.

— Прошу тебя, никогда не говори о нем. Мне слишком больно о нем думать.

— Нет, извините, я как раз о нем и буду говорить, а вам грех быть такой малодушной, мадам Жанна. Сейчас он делает глупости, а придет время, остепенится, женится, у него пойдут дети. Чтобы их вырастить, понадобятся деньги. Так вот, — послушайте меня: продайте Тополя...

Жанна привскочила и села на постели.

— Продать Тополя! Да что ты! Никогда в жизни!

Но Розали не смутилась.

— А я вам говорю, что вы их продадите, потому что их нужно продать.

И она изложила свои подсчеты, планы, соображения.

После продажи Тополей и двух прилегающих ферм, — а у нее есть на примете охотник купить их, — останется четыре фермы в Сен-Леонаре, которые, по погашении закладных, будут давать восемь тысяч триста франков дохода. Тысячу триста франков придется тратить в год на ремонт и поддержание будущего своего жилища, тогда им останется семь тысяч франков, из которых пять тысяч пойдут ежегодно на расходы, а две тысячи они могут откладывать на черный день.

— Все остальное ушло, не вернешь теперь. А ключи от денег будут у меня, так и знайте, а то господину Полю ничего, ровно ничего не останется. Он вас обчистит до нитки.

Жанна, все время молча плакавшая, прошептала:

— Но если ему нечего будет есть?

— Если он придет к нам голодный, мы его накормим. Для него всегда найдется, где переночевать и чем подкрепиться. Да что вы думаете, разве бы он натворил столько глупостей, не дай вы ему воли с самого начала?

— Но ведь он задолжал, он был бы обесщещен.

— А оттого, что у вас ничего не будет, он перестанет должать, что ли? Вы заплатили, ну и ладно: больше вы платить не будете. За это я вам отвечаю. А теперь покойной ночи, сударыня.

И она ушла.

Жанна не сомкнула глаз, потрясенная мыслью, что ей надо будет продать Тополя, уйти отсюда, расстаться с домом, с которым связана была вся ее жизнь.

Когда на следующее утро Розали вошла к ней в спальню, она встретила ее словами:

— Как хочешь, голубушка, а я не могу уехать отсюда.

Но служанка рассердилась.

— Ничего не поделаешь, раз иначе нельзя. Скоро придет нотариус с покупателем. А не то у вас, сударыня, в четыре года все пойдет прахом.

Жанна в отчаянии твердила:

— Не могу, не могу я.

Через час почтальон принес ей письмо от Поля, который просил еще десять тысяч франков. Что делать? Вне себя она бросилась за советом к Розали, та только руками развела.

— Ну, что я вам говорила, сударыня! Хороши бы вы вышли оба, не вернись я сюда!

И Жанна, покоряясь воле служанки, ответила Полю:

«Дорогой мой сын, ничем не могу помочь тебе. Ты меня разорил; мне даже приходится продать Тополя. Но помни: для тебя всегда найдется место, если ты придешь искать приюта у твоей старенькой матери, которой ты причинил немало горя. —

Жанна».

Когда приехал нотариус с г-ном Жофреном, бывшим сахарозаводчиком, она сама приняла их и предложила осмотреть все в подробностях.

Через месяц она подписала запродажную и одновременно приобрела скромный домик, неподалеку от Годервиля, на большой Монтивильерской дороге, в селении Батвиль.

Потом до самого вечера она бродила одна по маменькиной аллее, а сердце у нее надрывалось и ум мутился, когда она посылала скорбное, слезное прости далекому горизонту, деревьям, источенной червями скамье под платаном, всему, что было так привычно взгляду и, казалось, вошло в сознание и в душу, — роце, откосу над ландой, где она сживала так часто, откуда смотрела, как граф де Фурвиль бежал к морю в страшный день смерти Жюльена, старому вязу со сломанной верхушкой, к которому прислонялась частенько, и всему родному ей саду.

Пришла Розали и насильно, за руку увела ее в дом.

У крыльца дожидался рослый крестьянин лет двадцати пяти. Он по-дружески, как старую знакомую, приветствовал Жанну.

— Здравствуйте, мадам Жанна, как поживаете? Мать велела мне прийти поговорить насчет переезда. Вы мне покажите, что берете с собой, мне будет сподручнее возить между делом, чтобы работа на поле не стояла.

Это был сын ее служанки — сын Жюльена, брат Поля.

Ей показалось, что у нее останавливается сердце; и в то же время ей хотелось расцеловать этого парня.

Она смотрела на него, искала сходства со своим мужем, с сыном. Он был румяный, крепкий, белокурый и голубоглазый — в мать. И все-таки он напоминал Жюльена. В чем? Чем? Она и сама не понимала, но что-то было общее с ним во всем облике.

— Вы бы меня очень одолжили, если бы показали все сейчас, — повторил парень.

Но она еще сама не решила, что брать, так как новый дом ее вмещал очень мало, и попросила его прийти в конце недели.

Потом ее занял переезд, внося грустное развлечение в ее унылую, безнадежную жизнь.

Она ходила из комнаты в комнату, выбирала вещи, напоминавшие какие-нибудь события, те родные сердцу вещи, которые становятся частью нашей жизни, чуть ли не частью нас самих, вещи, знакомые с юных лет, связанные с грустными или радостными воспоминаниями, с вехами нашей истории; молчаливые товарищи сладостных или скорбных минут, они состарились, износились возле нас, и обивка у них местами лопнула, и подкладка порвалась, и скрепы расшатались, и краски полиняли.

Она выбирала каждую вещь отдельно, часто колебалась, волновалась так, словно принимала решение первостепенной важности, то и дело передумывала, взвешивала достоинства двух кресел или редкостного бюро по сравнению с старинным рабочим столиком.

Она выдвигала ящики, во всем искала воспоминаний; наконец, когда она решала твердо: «Да, это я возьму», — выбранный предмет относили в столовую.

Она пожелала сохранить всю обстановку своей комнаты: кровать, шпалеры, часы — словом, все.

Из гостиной она взяла некоторые кресла, те именно, где были любимые ею с детства рисунки: лисица и журавль, ворона и лисица, стрекоза и муравей, цапля-печальница.

Так, бродя по всем закоулкам родного жилища, которое ей предстояло покинуть, она добралась однажды до чердака.

Она застыла от неожиданности при виде такого нагромождения самых разнообразных предметов: одни были сломаны, другие просто загрязнены, третьи отнесены сюда по неизвестной причине — потому ли, что они надоели или же были заменены другими. Она без конца наталкивалась на безделушки, которые постоянно видела прежде, пока они не исчезали и она не забывала о них, те мелочи повседневного обихода, те знакомые пустячки, которые лет пятнадцать окружали ее, и она изо дня в день смотрела на них, не замечая. Здесь, на чердаке, рядом с другими, более старыми вещами, памятными ей из времен ее приезда в Тополя, эти мелочи тоже приобрели вдруг важное значение забытых свидетелей, вновь обретенных друзей. Они были для нее словно те люди, с которыми встречаешься долго, но совсем не знаешь их, пока как-нибудь вечером они не разговоятся по самому ничтожному поводу и не раскроют совершенно неожиданные стороны своей души.

Она переходила от одной вещи к другой и с замиранием сердца припоминала:

«Ах да, эту китайскую чашку уронила я за несколько дней до свадьбы. О! вот маменькин фонарик и трость, которую папенька сломал, когда хотел открыть калитку, разбухшую от дождя».

Но много было на чердаке таких вещей, которых она не знала, которые ничего ей не напоминали и, вероятно, остались еще от дедов или прадедов, вещей запыленных, переживших свое время, как будто грустных оттого, что они заброшены и никто не знает их истории, их приключений, ибо никто не видел тех, что выбирали, покупали, хранили и любили их, никто не помнит рук, которым было привычно трогать их, и глаз, которым было приятно смотреть на них.

Жанна брала их, вертела в руках, оставляла следы пальцев в густом слое пыли; так медлила она среди старого хлама в тусклом свете, падавшем сквозь квадратные окошечки в крыше.

Она внимательно разглядывала колченогие стулья и все думала, не напомнят ли они ей что-нибудь, разглядывала грелку, сломанную жаровню, которая показалась ей знакомой, и множество хозяйственных предметов, вышедших из употребления.

Потом она отобрала те вещи, которые хотела увезти с собой, и, спустившись в комнаты, послала за ними Розали. Служанка в негодовании отказалась переносить вниз «эту рухлядь». Но Жанна, как будто бы утратившая всякую волю, на этот раз не сдавалась; пришлось уступить ей.

Как-то утром молодой фермер Дени Лекок, сын Жюльена, прикатил со своей тележкой, чтобы совершить первый рейс. Розали поехала с ним, желая присутствовать при выгрузке и расставить мебель по местам.

Когда Жанна осталась одна, ею овладело жестокое отчаяние, и она пошла бродить по дому. В порыве восторженной нежности она целовала все, что не могла взять с собой, — больших белых птиц на шпалерах гостиной, старинные канделябры, все, что ей попадалось на глаза. Она металась из комнаты в комнату, не помня себя, обливаясь слезами; потом пошла прощаться с морем.

Был конец сентября; низкое серое небо, казалось, нависло над миром; унылые желтоватые волны уходили в беспредельную даль. Она долго стояла на крыже, отдавшись мучительным думам. Наконец, когда сумерки сгустились, она вернулась в дом, выстрадав за этот день не меньше, чем в дни самых страшных несчастий.

Розали уже успела возвратиться и ждала ее. Она была в восторге от нового дома, утверждала, что он куда веселее этого старого гроба, мимо которого даже дороги не идут.

Жанна проплакала весь вечер.

С тех пор как фермеры узнали, что имение продано, они уделяли ей только самую необходимую долю почтения, называли ее между собой «полоумная», не сознавая почему, — должно быть, потому только, что чуяли какимто враждебным инстинктом ее болезненную, все углубляющуюся чувствительность, восторженную мечтательность, все смятение ее

жалкой, потрясенной несчастиями души.

Накануне отъезда она случайно заглянула на конюшню. Вдруг какое-то рычание заставило ее вздрогнуть. Это был Убой, о котором она позабыла в последние месяцы. Слепой и параличный, он дожил до такого возраста, какого обычно не достигают собаки, и дотягивал свой век на соломенной подстилке; Людивина не оставляла его своими попечениями. Жанна взяла его на руки, расцеловала и унесла в дом. Он разбух, как бочка; еле передвигался на растопыренных негнущихся лапах и лаял наподобие деревянных игрушечных собачек.

Наконец настал последний день. Жанна ночевала в бывшей комнате Жюльена, потому что из ее спальни мебель была увезена.

Она встала с постели измученная, задыхаясь, как после долгого странствия. Повозка с остатками мебели и сундуками уже стояла, нагруженная, во дворе. Другая тележка, двуколка, была запряжена для хозяйки и служанки.

Только дядюшка Симон и Людивина должны были дожидаться приезда нового владельца, а потом отправиться на покой к родным, для чего Жанна выделила им небольшую ренту. Впрочем, у них самих были коекакие сбережения. Они превратились в очень дряхлых слуг, никчемных и болтливых. Мариус женился и давно уже покинул дом.

К восьми часам пошел дождь, мелкий, холодный дождь, который нагоняло легким ветром с моря. Пришлось прикрыть повозку холстом. Листья уже облетели с деревьев.

На кухонном столе дымился в чашках кофе с молоком. Жанна взяла свою, выпила мелкими глотками, потом встала и сказала: «Едем!»

Она взяла шляпу, шаль, и, пока Розали надевала ей калоши, она с трудом выговорила:

— Помнишь, милая, какой шел дождь, когда мы выехали из Руана сюда...

Но тут ей сдавило спазмой сердце, она поднесла обе руки к груди и без чувств упала навзничь.

Больше часа пролежала она запертво, потом открыла глаза и забилась в конвульсиях, сопровождаемых ручьями слез.

Когда она немного успокоилась, ее одолела такая слабость, что встать она не могла. Но Розали боялась новых припадков в случае отсрочки отъезда и позвала сына. Они вдвоем подняли ее, понесли, посадили в тележку на деревянную скамью, обитую клеенкой, и старая служанка, усевшись рядом с Жанной, закутала ей ноги, накинула на плечи теплый плащ, потом раскрыла над головой зонт и крикнула:

— Трогай, Дени.

Молодой человек взобрался на сиденье рядом с матерью, сел бочком за отсутствием места, погнал лошадь, и она припустила крупной неровной рысью, от которой сильно потряхивало обеих женщин.

Когда тележка повернула за угол и поехала деревней, они увидели человека, шагавшего взад и вперед по дороге, — это был аббат Тольбиак; он, по-видимому, караулил их.

Он остановился, чтобы пропустить тележку. Сутану он придерживал рукой, чтобы она не попадала в лужи, а из-под нее виднелись тощие ноги в черных чулках, обутые в огромные грязные башмаки.

Жанна опустила глаза, не желая встретиться с ним взглядом, а Розали, осведомленная обо всем, расвирепела и проворчала: «Экий гад, вот гад-то!» — потом схватила сына за руку:

— Огрей-ка его кнутом.

Но молодой человек, поравнявшись с аббатом, на полном ходу угодил колесом своей таратайки в рытвину, и оттуда брызнул фонтан грязи, обдав священнослужителя с головы до пят.

Розали, торжествуя, обернулась и погрозила ему кулаком, пока он утирался, вытащив свой огромный носовой платок.

Они ехали уже минут пять, как вдруг Жанна закричала:

— А Убоя-то мы забыли!

Дени остановил лошадь и побежал за собакой, а Розали тем временем держала вожжи.

Наконец молодой человек появился, неся раздутое, бесформенное облезлое животное, и положил его в ноги у женщин.

XIII

Два часа спустя тележка остановилась перед кирпичным домиком, который стоял у дороги, посреди фруктового сада, засаженного подстриженными грушевыми деревьями.

Четыре решетчатые беседки, увитые жимолостью и клематитом, были поставлены по четырем углам сада, разбитого на грядки, между которыми пролегали узкие дорожки, окаймленные фруктовыми деревьями.

Очень высокая живая изгородь со всех сторон замыкала усадьбу; от соседней фермы она была отделена полем. В ста шагах перед ней, на самой дороге, находилась кузница. Другое жилье было не ближе километра.

Вид из дома открывался на равнину, усеянную фермами, где двойными прямоугольниками высоких деревьев были огорожены яблоневые сады.

Жанне, как только приехала, собралась лечь, но Розали не допустила этого, боясь, чтобы она опять не затосковала.

На помощь заранее вызвали столяра из Годервиля и тотчас же приступили к расстановке уже привезенной мебели, в ожидании последней телеги, которая должна была вскоре прибыть.

Работа была немалая, требовала долгих размышлений и серьезных соображений.

Через час у ограды остановилась последняя повозка, которую пришлось разгружать под дождем.

Когда наступил вечер, в доме царил полнейший сумбур, вещи были свалены кое-как; и Жанна, выбившись из сил, уснула, едва только легла в постель.

Все последующие дни у нее не было времени задумываться, столько на ее долю приходилось возни. Она даже увлеклась украшением своего нового жилища, так как мысль, что сын ее может вернуться сюда, не оставляла ее. Шпалерами из ее прежней спальни была обтянута столовая, служившая в то же время гостиной. Особенно же позаботилась она об убранстве одной из двух комнат второго этажа, мысленно окрестив ее «спальной Пуле».

В другой комнате поселилась она сама, а Розали устроилась выше, рядом с чердаком.

Тщательно убранный домик оказался очень уютным, и Жанне он на первых порах понравился, хотя ей все доставало чего-то, но чего — она не могла понять.

Как-то утром клерк феканского нотариуса привез ей три тысячи шестьсот франков — стоимость обстановки, оставленной в Тополях и оцененной мебельщиком. Она задрожала от радости, получив деньги; не успел клерк уйти, как она поспешила надеть шляпу и собралась в Годервиль, чтобы поскорее отправить Полю эту неожиданную посылку.

Но когда она торопливо шла по дороге, ей навстречу попала Розали, возвращавшаяся с рынка. Служанка что-то заподозрила, ничего еще толком не понимая, но, узнав правду, которую Жанна не сумела от нее скрыть, она поставила корзину на землю, чтобы побушевать вволю.

Упершись кулаками в бока, она покричала, потом подхватила свою госпожу правой рукой, корзину — левой и, все еще негодуя, отправилась домой.

Как только они возвратились, Розали потребовала выдачи денег. Жанна вручила их, припрятав только шестьсот франков, но служанка была уже настороже, а потому сразу же разоблачила ее хитрость, и ей пришлось отдать все сполна.

Однако Розали согласилась, чтобы этот остаток был отправлен Полю.

Через несколько дней от него пришла благодарность:

«Ты оказала мне большую услугу, дорогая мама, потому что мы находились в крайней нужде».

Жанна не могла по-настоящему сжиться с Батвилем; ей все время казалось, что и дышится ей не так, как прежде, и одинока она, заброшена, затеряна еще больше. Она

выходила погулять, добиралась до селения Вернейль, шла обратно через Труа-Мар, потом, вернувшись, вставала и опять рвалась куда-то, как будто позабыла побывать именно там, куда ей надо было пойти, где ей хотелось гулять.

Это повторялось изо дня в день, и она никак не могла понять причину такой странной неудовлетворенности. Но как-то вечером у нее бессознательно вырвались слова, открывшие ей самой тайну ее беспокойства. Садясь обедать, она сказала:

— Ах, как мне хочется видеть море!

Вот чего ей так недоставало — моря, ее великого соседа в течение двадцати пяти лет, моря с его соленым воздухом, его гневными порывами, его рокочущим голосом, его мощным дуновением, моря, которое она каждое утро видела из своего окна в Тополях, которым дышала ночью и днем, которое она постоянно чувствовала подле себя и, сама того не сознавая, полюбила, как живого человека.

Убой тоже жил в страшном возбуждении. С первого вечера он расположился на нижней полке кухонного шкафа, и выселить его оттуда не было возможности. Он лежал там целый день, почти не шевелясь, только переворачивался время от времени с глухим ворчанием.

Но едва наступала ночь, как он поднимался и ковылял к садовой калитке, натываясь на стены. Пробыв на воздухе, сколько ему требовалось, он возвращался, садился перед неостывшей плитой и, как только обе его хозяйки уходили к себе, принимался выть.

Он выл всю ночь напролет жалобным, заунывным голосом, останавливался на часок, чтобы передохнуть, и завывал снова еще надрывнее. Его поместили перед домом в бочонке. Он стал выть под окнами. Но так как он был совсем немощен и еле жив, его вернули на кухню.

Жанна окончательно потеряла сон; она слушала, как непрерывно кричат и скребется старый пес, пытаясь найти свое место в новом жилище и понимая, что он здесь не дома.

Утихомирить его было невыносимо. День он дремал, как будто угасшие глаза и сознание своей немощи мешали ему двигаться, когда все живое хлопчет и спешит, но едва лишь смеркалось, он принимался блуждать без устали, словно решался жить и двигаться только в темноте, когда все становятся незрячими.

Но в одно утро его нашли мертвым. Это было большим облегчением.

Надвигалась зима, и Жанной овладело неодолимое отчаяние. Это не была та жгучая боль, которая надывает душу, а унылая, смертная тоска.

Нечему было отвлечь и рассеять ее. Никто не вспоминал о ней. Перед новым ее домом тянулась вправо и влево большая дорога, почти всегда пустынная. Время от времени мимо катила двуколка с загорелым возницей, синяя блуза которого от быстрой езды вздувалась на спине пузырем; иногда медленно тащилась телега, а иногда у края горизонта показывалась крестьянская чета, мужчина и женщина; крохотные фигурки их все росли, а потом, миновав дом, уменьшались снова, становились не больше насекомых там, в самом конце белой полоски, которая уходила в необозримую даль, поднимаясь и опускаясь вместе с грядами волнистой равнины.

Когда опять пробилась трава, мимо ограды стала каждое утро проходить девочка в короткой юбке, погоняя двух тощих коров, которые паслись вдоль придорожных канав. К вечеру она возвращалась той же сонной поступью, делая по шагу в десять минут, следом за своей скотиной.

Жанне каждую ночь снилось, что она по-прежнему живет в Тополях.

Она вновь видела себя там вместе с отцом и мамочкой, а иногда даже с тетей Лизон. Она вновь делала то, что ушло и позабылось, вновь водила мадам Аделаиду по ее аллее. И каждое утро она просыпалась в слезах.

Она неотступно думала о Поле, пыталась себя вопросами: «Что он делает? Каким он стал? Вспоминает хоть изредка обо мне?» Гуляя по тропинкам, протоптанным между фермами, она перебирала эти мучительные думы; но больше всего страдала она от неутолимой ревности к незнакомой женщине, похитившей у нее сына. Только эта ненависть

удерживала ее, мешала ей действовать, поехать за ним, проникнуть к нему. Ей все казалось, что его любовница встретит ее на пороге и спросит: «Что вам здесь надобно, сударыня?» Маюринская гордость возмущалась в ней от возможности такой встречи; и высокомерие женщины, ни разу не оступившейся, сохранившей незапятнанную чистоту, разжигало в ней гнев против подлости мужчины, раба грязной плотской любви, которая оподляет даже сердца. Все человечество было ей гадко, когда она думала о нечистых тайнах похоти, о марающих ласках, о тех альковных секретах, которые знала по догадке и которыми объяснялась нерасторжимость многих связей.

Прошли еще весна и лето.

Но когда настала осень с долгими дождями, сереньким небом и мрачными тучами, ей до того опостылела такая жизнь, что она решила сделать последнюю попытку вернуть своего Пуле.

Надо думать, его страсть успела остыть.

И она написала ему слезное письмо:

«Дорогое мое дитя, заклинаю тебя вернуться ко мне. Вспомни, что я стара, больна и круглый год одна с прислугой. Я живу теперь в маленьком домике у самой дороги. Это очень нерадостно. Но если бы ты вернулся ко мне, все бы для меня было по-иному. Кроме тебя, у меня никого нет на свете, а мы не виделись с тобой целых семь лет! Ты и вообразить себе не можешь, сколько я выстрадала и сколько души вложила я в тебя. Ты был моей жизнью, моей мечтой, единственным моим упованием, единственной любовью, и ты далеко от меня, ты меня покинул!

Ах, вернись, маленький мой Пуле, вернись и обними свою старую мать, которая в отчаянии протягивает к тебе руки.

Жанна»

Он ответил через несколько дней:

«Дорогая мама, я тоже был бы счастлив повидать тебя, но у меня нет ни гроша. Пришли мне немного денег, и я приеду. Впрочем, я и сам собирался съездить к тебе и поговорить об одном своем намерении, которое позволило бы мне исполнить твоё желание.

Бескорыстие и» привязанность той, что была моей подругой все трудные дни, пережитые мной, не имели и не имеют границ. Дольше мне невозможно уклоняться от публичного признания ее верной любви и преданности. Кстати, у нее превосходные манеры, которые ты, без сомнения, одобришь. К тому же она очень образованна, много читает. А главное, ты не представляешь себе, чем она всегда была для меня. Я был бы негодяем, если бы не дал ей доказательств своей признательности. Итак, прошу у тебя разрешения на брак с ней. Ты простишь мне мои ошибки, и мы заживем вместе в твоём новом доме.

Если бы ты знала ее, ты бы сразу же дала согласие. Уверяю тебя, что она совершенство и притом образец благовоспитанности. Ты, без сомнения, полюбишь ее. Что же касается меня, то я не могу без нее жить.

С нетерпением жду от тебя ответа, а пока мы оба от души целуем тебя.

Твой сын

виконт Поль де Ламар «,

Жанна была уничтожена. Она застыла в неподвижности, опустив письмо на колени; ей были ясны происки этой девки, которая все время удерживала ее сына, ни разу не пустила его к ней, дожидаясь своего часа — того часа, когда старуха мать, дойдя до отчаяния, не устоит перед желанием обнять свое дитя, смягчится и даст согласие на все.

И неизжитая обида от неизменного предпочтения, которое Поль оказывал этой твари, разрывала ее сердце.

Она твердила про себя:

— Он не любит, не любит меня.

Вошла Розали.

— Он собрался на ней жениться, — проговорила Жанна.

Служанка даже подскочила.

— Ох, сударыня, не давайте согласия. Как можно, чтобы господин Поль подобрал эту потаскуху.

И Жанна, подавленная, но полная возмущения, ответила:

— Будь покойна, голубушка, этого я не допущу. А раз он не желает приезжать, я сама поеду к нему, и тогда посмотрим, кто из нас возьмет верх.

Она немедленно написала Полю, что собирается приехать и желает увидеться с ним где угодно, только не на квартире этой твари.

В ожидании ответа она начала сборы. Розали принялась укладывать в старый баул белье и одежду своей госпожи, но, расправляя ее платье, давнишнее летнее платье, вскричала вдруг:

— Да вам даже надеть-то на себя нечего! Я вас не пушу так! На вас стыдно будет смотреть, а парижские дамы сочтут вас за прислугу.

Жанна подчинилась ей, и они вдвоем отправились в Годервиль, где выбрали материю в зеленую клетку и отдали шить местной портнихе. Затем зашли за указаниями к нотариусу, мэтру Русселю, который каждый год ездил на две недели в столицу. Сама Жанна не была в Париже двадцать восемь лет.

Он дал подробнейшие наставления, как остерегаться экипажей, как, уберечься от воровства, советуя зашить деньги в подкладку платья, а в кармане держать только то, что нужно на мелкие расходы. Он долго распространялся о ресторанах с умеренными ценами и указал два или три, где бывают дамы; затем он рекомендовал гостиницу «Нормандия» около вокзала, где обычно останавливался сам, и разрешил сослаться там на него.

Уже целых шесть лет между Парижем и Гавром проложена была железная дорога, о которой шло столько толков. Но Жанна, удрученная горем, еще не видела знаменитого локомотива, который все перевернул в округе.

Тем временем от Поля ответа не было.

Она прождала неделю, другую, каждое утро выходила на дорогу навстречу почтальону и с трепетом обращалась к нему:

— Для меня что-нибудь есть, дядюшка Маландэн?

И тот неизменно отвечал охрипшим от переменчивого климата голосом:

— Покамест ничего, сударыня.

Ну конечно же, эта женщина не позволяла Полю ответить!

Тогда Жанна решила ехать, ничего не дожидаясь. Она хотела взять с собой Розали, но служанка отказалась сопровождать ее, не желая увеличивать дорожные расходы.

Впрочем, она и хозяйке своей не позволила взять больше трехсот франков.

— Если вам потребуется еще, вы мне напишете, я схожу к нотариусу, а он уже будет знать, как переслать вам деньги. А то господин Поль все приберет к рукам.

Итак, в одно декабрьское утро обе взобрались в двуколку Дени Лекока, который повез их на станцию, — решено было, что Розали проводит хозяйку до железной дороги.

Прежде всего они справились о стоимости билета, потом, когда все было улажено и баул сдан в багаж, стали ждать, глядя на железные полосы и стараясь понять, как действует эта штука, и до того были заняты увлекательной загадкой, что даже позабыли о печальной цели путешествия.

Наконец послышался отдаленный гудок, они повернули головы и увидели черную машину, которая все росла, приближаясь. Чудовище надвинулось с оглушительным грохотом и прокатило мимо них, волоча за собой цепочку домиков на колесах; кондуктор открыл дверцу, Жанна со слезами поцеловала Розали и взобралась в одну из клеток.

Взволнованная Розали кричала:

— Прощайте, сударыня, счастливого пути, до скорого свидания!

— Прощай, голубушка.

Снова раздался гудок, и вся вереница домиков покатила сперва медленно, потом быстрее и, наконец, с ужасающей скоростью.

В купе, куда попала Жанна, два господина спали, прислонившись к стенке в разных

углах.

Она смотрела, как мелькали поля, деревья, фермы, селенья, и была ошеломлена такой быстротой, чувствовала себя захваченной новой жизнью, унесенной в новый мир, непохожий на мир ее тихой юности, ее однообразной жизни.

Уже смеркалось, когда поезд прибыл в Париж. Носильщик взял багаж Жанны, и она, перепуганная сутолокой, не привыкшая лавировать в движущейся толпе, почти бежала за ним, чтобы не потерять его из виду.

Когда она очутилась в конторе гостиницы, то прежде всего поспешила заявить:

— Меня к вам направил господин Руссель.

Хозяйка, массивная женщина сурового вида, сидевшая за конторкой, спросила:

— Кто это такой — господин Руссель?

— Да это нотариус из Годервиля, он останавливается у вас каждый год, — растерявшись, отвечала Жанна.

— Очень возможно. Только я его не знаю, — сказала тучная особа. — Вам нужна комната?

— Да, сударыня.

Слуга взял ее баул и пошел по лестнице впереди нее.

У нее тоскливо сжималось сердце. Она села подле маленького столика и попросила, чтобы ей принесли чашку бульона и кусочек цыпленка. С самого утра у нее ничего не было во рту.

Уныло пообедала она при одной свечке, предаваясь грустным размышлениям, вспоминая, как была здесь проездом по возвращении из свадебного путешествия, как во время этого пребывания в Париже впервые проявился характер Жюльена. Но она была тогда молода, и бодр, и жизнерадостна. Теперь она чувствовала, что стала старой, неловкой, даже трусливой, слабой, терялась от малейшего пустяка. Кончив обед, она подошла к окну и взглянула на улицу, полную народа. Ей хотелось выйти из гостиницы, но было страшновато. Она обязательно заблудится, казалось ей. Тогда она легла и задула свечу.

Но грохот, ощущение чужого города и тревожения пути мешали ей уснуть. Проходили часы. Шумы улицы понемногу затихали, а она все бодрствовала, ей не давала покоя тревожная полудрема больших городов. Она привыкла к мирному и глубокому сну полей, который усыпляет все — растения, людей, животных; а сейчас она ощущала кругом какое-то таинственное оживление. До нее доносились, словно просачиваясь сквозь стены, почти неуловимые голоса. Иногда скрипел пол, хлопала дверь, звенел звонок.

Внезапно, часов около двух ночи, когда она стала засыпать, в соседней комнате раздался женский крик; Жанна привскочила и села в постели; потом ей послышался смех мужчины.

И тут, с приближением дня, ею завладела мысль о Поле; она встала и оделась, едва только забрезжил рассвет. Они жили на улице Соваж в Ситэ. Помня наказ Розали соблюдать экономию, она собралась туда пешком. Погода стояла ясная; морозный воздух пощипывал щеки; озабоченные люди бежали по тротуарам. Она торопливо шла по той улице, которую ей указали и в конце которой ей нужно было повернуть направо, а затем налево. Дойдя до площади, она должна была спросить, куда идти дальше. Она не нашла площади и обратилась с вопросом к булочнику, который дал ей противоположные указания. Она послушалась его, сбилась с дороги, долго плутала, следовала другим наставлениям и заблудилась окончательно.

В полной растерянности она шла теперь почти наугад и совсем уже собралась остановить фиакр, как вдруг увидела Сену. Тогда она пошла по набережным.

Приблизительно через час она свернула на улицу Соваж — темный и узкий переулок. Перед дверью она остановилась до того взволнованная, что дальше не могла сделать ни шагу.

Тут, в этом доме, был он — Пуле.

У нее дрожали колени, дрожали руки; наконец она решилась, прошла коридором,

увидела каморку швейцара и спросила, протягивая монету:

— Вы не могли бы подняться и сказать господину Полю де Ламар, что его ждет внизу старая приятельница его матери.

— Он отсюда съехал, сударыня, — ответил швейцар.

Дрожь пробежала по ней.

— А где он теперь живет? — пролепетала она.

— Не знаю.

У нее до того закружилась голова, что она едва не упала и некоторое время не могла выговорить ни слова. Наконец отчаянным усилием она овладела собой, и прошептала:

— Давно он съехал?

Швейцар оказался словоохотливым.

— Как раз две недели назад. Ушли как-то вечером в чем были и больше не возвращались. Они задолжали всему кварталу; сами понимаете, какой им был смысл оставлять новый адрес.

Жанна видела какие-то искры, вспышки огня, словно у нее перед глазами стреляли из ружья. Но одна неотступная мысль давала ей сил держаться на ногах, быть с виду спокойной и рассудительной: она хотела знать, как найти Пуле.

— Он ничего не сказал, когда уезжал?

— Ни слова. Они попросту сбежали, чтобы не платить, вот и все.

— Но он, наверно, будет присылать кого-нибудь за письмами?

— Еще чего! Да они за год и десятка писем не получали. Однако же одно письмецо я им отнес дня за два до того, как они съехали.

Это, конечно, было ее письмо. Она сказала поспешно:

— Послушайте, я его мать, я за ним приехала. Вот вам десять франков. Если вы что-нибудь услышите или узнаете о нем, сообщите мне в гостиницу «Нормандия» на Гаврской улице, я вам хорошо заплачу.

— Положитесь на меня, сударыня, — ответил швейцар.

И она убежала прочь.

Она шла теперь, не думая о том, куда идет. Она спешила, словно по важному делу, торопливо пробиралась вдоль стен, и ее толкали люди со свертками; она переходила улицы, не глядя на экипажи, и ее ругали кучера; она не видела ступенек тротуара и спотыкалась о них, она бежала вперед как потерянная.

Неожиданно она очутилась в каком-то саду и почувствовала такую усталость, что присела на скамью. Должно быть, она просидела там долго и плакала, сама того не замечая, потому что прохожие останавливались и смотрели на нее. Наконец она почувствовала, что вся прозябла; тогда она встала и пошла дальше; ноги едва несли ее, так она была слаба, так измучена. Ей хотелось выпить чашку бульона, но она не решалась войти в какой-нибудь ресторан от робости и своего рода целомудренного стыда за свое горе, которое, как она сознавала, было очень уж явным. Она останавливалась на пороге, заглядывала внутрь, видела людей, которые сидели и ели за столиками, и пугливо бежала дальше, решая про себя — «Пойду в другой». Но и в следующий тоже не смела войти.

Под конец она купила в булочной хлебец-подковку и стала есть его на ходу. Ее мучила жажда, но она не знала, куда зайти напиться, и потому перетерпела.

Она прошла под каким-то сводом и очутилась в другом саду, окруженном аркадами. Она узнала ПалеРояль.

Солнце и ходьба немножко согрели ее, и она посидела еще час или два.

В сад вливалась толпа, нарядная толпа людей, которые болтали, улыбались, раскланивались, — благополучная толпа, где женщины красивы, а мужчины богаты, где все живет для роскоши и радости.

Жанна испугалась такого пышного сборища и вскочила, чтобы убежать; но вдруг ее осенила мысль, что здесь она может встретить Поля, и она принялась бродить, заглядывая в лица; она ходила по саду взад и вперед, из конца в конец частыми робкими шажками.

Люди оборачивались и смотрели на нее, иные смеялись и что-то говорили друг другу. Она заметила это и бросилась бежать, решив, что они, конечно, потешаются над ее видом, над ее платьем в зеленую клетку, выбранным по вкусу Розали и сшитым по ее указаниям готервильской портнихой.

Она не смела даже спрашивать у прохожих дорогу. Однако отважилась под конец и добралась до своей гостиницы.

Не шевелясь, просидела она до вечера на стуле в ногах кровати. Потом пообедала, как накануне, супом и кусочком мяса и легла в постель. Прodelывала она все это машинально, по привычке.

На следующее утро она обратилась в полицейскую префектуру, чтобы нашли ее сына; ничего положительного ей не сказали, однако обещали заняться этим делом.

Тогда она пошла скитаться по улицам в надежде встретить его. И в этой суетливой толпе она чувствовала себя более одинокой, более заброшенной и жалкой, чем среди пустынных полей.

Когда она вечером вернулась в гостиницу, ей сказали, что ее спрашивал от имени господина Поля какой-то человек и обещал прийти завтра. Волна крови прилила ей к сердцу, и она всю ночь не сомкнула глаз. А вдруг это был он? Да конечно же, это был он, хотя по описанию она не уловила сходства.

Часов около девяти в ее дверь постучали, она крикнула: «Войдите!»— собираясь броситься навстречу с распростертыми объятиями. На пороге появился незнакомец. И пока он просил извинения за беспокойство, пока он излагал свое дело, — он пришел получить долг Поля, — она чувствовала, что плачет, старалась скрыть слезы и смахивала их пальцем, по мере того как они набегали на глаза.

Он узнал о ее приезде у швейцара на улице Соваж и, не имея возможности найти сына, обратился к матери. Он протянул бумагу, которую она, не задумываясь, взяла. Она увидела цифру девяносто франков, достала деньги и заплатила. В этот день она совсем не выходила на улицу.

Назавтра явились другие кредиторы. Она отдала все, что у нее было, оставив себе франков двадцать, и написала Розали о своем положении.

В ожидании ответа служанки она целые дни бродила по городу, не зная, что предпринять, где убить мрачные, нескончаемые часы, кому сказать ласковое слово, кому поведать свое горе. Блуждая без цели, она томилась теперь желанием уехать, вернуться туда, в свой домик на краю безлюдной дороги.

Несколько дней назад она не могла жить там от гнетущей тоски, а сейчас, наоборот, чувствовала, что впредь ей возможно будет жить только в том месте, где укоренились ее унылые привычки.

Наконец как-то вечером, вернувшись в гостиницу, она нашла письмо и двести франков. Розали писала: «Мадам Жанна, поскорее возвращайтесь, потому что больше я вам денег не пришлю. Что до господина Поля, то за ним поеду я, как только он объявится.

Низко кланяюсь вам.

Ваша слуга Розали».

В то утро, когда Жанна уехала назад, в Батвиль, шел снег и было очень холодно.

XIV

С тех пор она перестала выходить, перестала двигаться. Она вставала каждое утро в определенный час, смотрела в окно, чтобы узнать, какая погода, а потом спускалась в столовую и садилась у камина.

Она сидела так по целым дням, не шевелясь, не отводя взгляда от пламени, дав волю своим печальным думам, и перед ней проходила скорбная вереница ее горестей. Сумерки мало-помалу заволакивали тесную комнату, а Жанна все сидела не двигаясь, только иногда подбрасывала дров в камин.

Входила Розали с лампой и окликала ее:

— Да ну же, мадам Жанна, не мешало бы вам поразмяться, а то вы опять ничего не станете есть за обедом.

Часто она не могла отделаться от какой-нибудь навязчивой мысли или волновалась и мучилась по пустякам; в ее больной голове любая мелочь приобретала огромное значение.

Больше всего она жила в прошлом, в отдаленном прошлом; ее преследовали воспоминания о ранней поре ее жизни и о свадебном путешествии по Корсике. Давно забытые ландшафты далекого острова внезапно возникали в тлеющих углях камина; ей припоминались все подробности, мельчайшие события, люди, виденные там; лицо проводника, Жана Риволи, стояло перед ней неотступно, а иногда ей даже чудился его голос.

Потом она вспоминала мирные детские годы Поля, когда он заставлял ее пересаживать салат и они с тетей Лизон подолгу простаивали на коленях, копаясь в тучной земле, наперебой стараясь угодить ребенку, соперничая между собой в том, у кого лучше примется рассада, кто выходит больше сеянцев.

И губы ее шептали чуть слышно: «Пуле, мальчик мой Пуле», — как будто она обращалась к нему самому; на этом имени мечты ее задерживались; иногда она по целым часам вытянутым пальцем чертила в воздухе составлявшие его буквы. Она медленно выводила их перед огнем и воображала, будто видит их, потом, решив, что ошиблась, дрожащей от усталости рукой начинала снова заглавное П и силилась написать все имя полностью; доведя его до конца, она начинала сызнаова.

Наконец она выбивалась из сил, путала все, рисовала другие слова, доходила до исступления.

Она была подвержена всем причудам одиноких людей. Перестановка любого предмета раздражала ее.

Розали часто принуждала ее двигаться, выводила погулять по дороге, но Жанна через двадцать минут заявляла: «Я устала, голубушка», — и усаживалась у придорожной канавы.

Вскоре всякое движение стало ей несносно, она как можно дольше оставалась в постели.

С самого детства у нее упорно держалась лишь одна привычка: вставать сразу же, как выпьет чашку кофе с молоком. К этому напитку она чувствовала особое пристрастие; лишиться его ей было бы труднее, чем чеголибо другого. Каждое утро она ждала прихода Розали в своего рода сладострастном нетерпении, а как только полная чашка оказывалась на ночном столике, она садилась на кровати и выпивала ее с жадностью. Потом отбрасывала одеяло и начинала одеваться.

Но мало-помалу она приучилась задумываться на минутку после того, как опускала чашку на блюдце; потом стала ложиться снова; так изо дня в день она нежилась все дольше, пока не являлась разъяренная Розали и не одевала ее почти насильно. Впрочем, у нее не осталось и намека на волю, и всякий раз, как служанка спрашивала у нее совета, задавала ей вопрос, осведомляясь о ее мнении, она отвечала:

— Делай как знаешь, голубушка.

Она до тощ уверовала в свою незадачливость, что дошла до чисто восточного фатализма; привыкнув к тому, что все мечты ее гибнут, все надежды рушатся, она колебалась целые дни, прежде чем решиться на самый ничтожный поступок, так как была убеждена, что обязательно изберет неправильный путь и дело обернется плохо.

— Уж кому не повезло в жизни, так это мне, — ежеминутно повторяла она.

Розали возмущалась в ответ:

— Вот пришлось бы вам работать за кусок хлеба, вставать каждый день в шесть утра да идти на поденщину, — что бы вы тогда сказали? Мало разве кто так бьется, а на старости лет умирает с голоду.

— Да ты подумай, ведь я совсем одна, и сын меня покинул, — возражала Жанна.

Тогда Розали совсем выходила из себя:

— Подумаешь, какая беда! А что, когда сыновья уходят на военную службу или же

переселяются в Америку?

Америка представлялась ей каким-то фантастическим краем, куда ездят наживать богатство и откуда не возвращаются.

— Рано ли, поздно ли, а разлучаться приходится, — продолжала она, — потому что старым и молодым не положено жить вместе.

И она добавляла свирепо:

— Вот умри он, что бы вы тогда сказали?

На это Жанна не находила ответа.

С мягким ветерком первых весенних дней силы ее немного восстановились, но она пользовалась этим возвратом энергии, чтобы еще неистовее предаться своим мрачным думам.

Поднявшись однажды утром на чердак за какой-то вещью, она случайно открыла сундук, наполненный старыми календарями; их хранили по обычаю многих деревенских жителей.

Ей показалось, что самые годы ее прошлой жизни встают перед нею, и странное, смутное волнение охватило ее при виде этих квадратов картона.

Она взяла их и унесла вниз, в столовую. Тут были всякие, большие и маленькие; она принялась раскладывать их на столе по годам. Внезапно ей попался первый из них, тот, который она привезла в Тополя.

Она долго смотрела на него, на зачеркнутые ее рукой числа в утро ее отъезда из Руана, на следующий день после выхода из монастыря. И она заплакала. Она плакала скорбными, скудными слезами, жалкими слезами старухи, оплакивающей свою несчастную жизнь, запечатленную в этих кусочках картона.

Внезапно у нее мелькнула мысль, ставшая вскоре жестокой, неотступной, неотвязной манией. Ей непременно нужно было восстановить день за днем все, что она делала в жизни.

Она развесила по стенам эти пожелтевшие квадраты картона и проводила целые дни, уставив взгляд на какой-нибудь из них и припоминая: «Что со мной случилось в том месяце?»

Она подчеркивала памятные даты своей истории и восстанавливала таким образом некоторые месяцы целиком, припоминая один за другим, сочетая и связывая между собой все мелкие факты, предшествовавшие крупному событию и последовавшие за ним.

Сосредоточив внимание, всячески напрягая память и собрав всю свою волю, она почти полностью восстановила первые два года пребывания в Тополях, так как события самого отдаленного прошлого всплывали в ее памяти удивительно легко и выпукло.

Но последующие годы терялись в каком-то тумане, путались, громоздились друг на друга; случалось, она просиживала подолгу, глядя на один из календарей, обратив все помыслы в былое, и не могла разобраться, к этому ли куску картона относится то или иное воспоминание. Так от одного календаря к другому она обходила всю комнату, где, точно картины крестного пути, висели памятки минувших дней. Потом ставила перед какой-нибудь из них стул и сидела без движения до ночи, роясь в своей памяти.

И вдруг, когда солнечное тепло пробудило соки, когда на полях поднялись всходы, а деревья зазеленели, когда яблони в садах распустились розовыми шарами и напоили ароматами равнину, сильнейшее возбуждение овладело Жанной.

Ей не сиделось на месте; она была в непрерывном движении, выходила и возвращалась по двадцать раз в день, часто блуждала где-то далеко среди ферм, разжигая в себе лихорадку сожалений.

Скрытая в густой траве маргаритка, луч солнца, скользнувший меж листьями, лужица, где отражается синева небес, — все это задевало ее за живое, умиляло, потрясало ее, будило забытые ощущения, словно отголоски того, что волновало ее девичью душу, когда она, мечтая, скиталась по полям.

Тот же трепет, то же наслаждение пьянящей отрадой и негой весеннего тепла она испытывала, когда жила ожиданием будущего. И теперь, когда с будущим было покончено,

она ощущала все это вновь. И наслаждалась всем сердцем, и страдала в то же время, как будто извечная радость пробужденного мира, пронизывая ее иссохшую кожу, ее охладевшую кровь, ее удрученную душу, теперь могла подарить ей лишь грустную тень очарования.

Ей казалось, будто что-то переменялось на свете. Солнце стало, пожалуй, не таким уже жарким, как в дни ее юности, небо не таким уж синим, трава не такой уж зеленой; цветы тоже были не так ярки и ароматны, не дурманили так, как прежде.

Однако бывали дни, когда блаженное чувство жизни так властно проникало в нее, что она вновь принималась мечтать, надеяться, ждать; и правда, можно ли, при всей беспощадной жестокости судьбы, перестать надеяться, когда кругом такая благодать?

Она ходила, ходила часами, как будто душевное возбуждение подгоняло ее. Иногда она вдруг останавливалась, садилась у края дороги и перебирала печальные мысли. Почему ее не любили, как других? Почему ей не дано было узнать даже скромные радости мирного существования?

А иногда она забывала на миг, что она стара, что впереди ее не ждет ничего, кроме недолгих мрачных и одиноких лет, что пройден весь ее путь; и она, как прежде, как в шестнадцать лет, строила планы, отрадные сердцу, рисовала заманчивые картины будущего. И вдруг жестокое сознание действительности обрушивалось на нее; она вставала, вся согнувшись, как будто на нее свалилась тяжесть и перебила ей поясницу, и уже медленнее шла по направлению к дому, бормоча про себя: «Ах, безумная, безумная старуха!»

Теперь Розали без конца твердила ей:

— Да посидите вы спокойно, что это вы такая непоседа?

И Жанна отвечала печально:

— Со мной, верно, делается то же, что с Убом перед концом.

Однажды утром служанка вошла к ней в спальню раньше обычного и, поставив на столик чашку кофе, сказала:

— Пейте скорее. Дени ждет нас у крыльца. Мы едем в Тополя, у меня дела в той стороне.

Жанна до того взволновалась, что едва не лишилась чувств; она оделась, вся дрожа от волнения и страха при мысли, что увидит дорогой ее сердцу дом.

Ясное» небо простиралось над миром, и лошаденка, развеселясь, пускалась по временам вскачь. Когда они въехали в Этуванскую общину, Жанне стало трудно дышать, до того ей сдавило грудь, а при виде кирпичных столбов ограды она невольно охнула несколько раз, как будто у нее останавливается сердце.

Повозку распрягли у Куяров, а пока Розали с сыном ходили по делам, Куяры предложили Жанне воспользоваться отсутствием хозяев и навестить дом и тут же дали ей ключи.

Она отправилась одна и, подойдя к старому дому со стороны моря, остановилась взглянуть на него. Снаружи все было без перемен. По хмурым стенам обширного серого здания в этот день скользили улыбки солнца. Все ставни были закрыты.

Сухой сучок упал ей на платье; Жанна подняла глаза; он упал с платана. Она подошла к толстому стволу с гладкой и блеклой корой и погладила его, точно живое существо. Нога ее натолкнулась в траве на кусок сгнившего дерева; это был остаток скамьи, где она так часто сидела со своими близкими, той скамьи, которую поставили в день первого визита Жюльена.

Она подошла к двустворчатым дверям, ведущим в вестибюль, и с трудом отворила их, потому что ржавый ключ не желал поворачиваться. Наконец замок со скрежетом поддался, и тугая, разбухшая створка двери раскрылась.

Жанна сразу же, чуть не бегом, поднялась в свою комнату; она была незнакома, оклеена новыми светлыми обоями, но когда Жанна открыла окно, все внутри у нее перевернулось при виде любимого ландшафта: рощи, вязов, ланды и моря, усеянного бурными парусами, издалика как будто неподвижными. Затем она пошла бродить по большому пустынному дому. Она вглядывалась в привычные ее глазу пятна на стенах. Она остановилась перед дырочкой в штукатурке, пробуравленной бароном, который любил,

вспомнив молодость, поупражняться тростью в фехтовании, проходя мимо этой стены.

В спальне маменьки она нашла вколотую за дверь в темном уголке возле кровати тонкую булавку с золотой головкой, которую сама же, как она припомнила теперь, воткнула туда, а потом искала целые годы. Так никто ее и не нашел. Она взяла булавку, как бесценную реликвию, и поцеловала ее.

Она заглядывала повсюду, искала и находила почти неуловимые отметки на прежних, не смененных обоях, снова видела те причудливые образы, которые наша фантазия создает из рисунков тканей, из прожилок мрамора, из теней на потолках, потемневших от времени.

Она неслышными шагами ходила одна по огромному безмолвному дому, точно по кладбищу. Вся ее жизнь покоилась в нем. Она спустилась в гостиную. Там было темно от запертых ставен, и она некоторое время ничего не видела; потом глаза ее привыкли к темноте, и ей мало-помалу удалось разглядеть высокие шпалеры, где порхали птицы. Два кресла по-прежнему стояли у камина, как будто их только что покинули, и даже самый запах комнаты, ее особый запах, как у людей бывает свой, этот слабый, но вполне ощутимый, неопределенный и милый запах старинных покоев проникал в Жанну, обволакивал ее воспоминаниями, дурманил ей мозг. Она стояла, задыхаясь, впивая дыхание прошлого и не сводя глаз с двух кресел. И вдруг в мгновенной галлюцинации, порожденной навязчивой идеей, ей привиделось, — нет, она увидела, как видела столько раз, — что отец и мать сидят и греют ноги у огня.

Она отшатнулась в ужасе, наткнулась на дверь и прислонилась к ней, чтобы не упасть, но при этом не отрывала взгляда от кресел.

Видение исчезло.

Несколько минут она была как безумная; потом овладела собой и хотела бежать, чтобы не сойти совсем с ума. Взгляд ее случайно упал на косяк двери, на который она опиралась, и она увидела «лесенку Пуле».

Слабые отметки на белой краске шли вверх с неравными промежутками, а цифры, вырезанные перочинным ножом, указывали годы, месяцы и рост ее сына. Иногда почерк был отцовский, более крупный, иногда ее — помельче, а иногда тети Лизон, немного неровный. И ей показалось, что он снова здесь, перед ней — маленький Поль, и будто бы он снова прижимается белокурой головкой к стене, чтобы измерили его рост.

«Жанна, он за полтора месяца вырос на сантиметр!» — кричал барон.

И она с иступленной любовью принялась целовать дверной косяк.

Но ее звали со двора. Это был голос Розали.

— Мадам Жанна, мадам Жанна, вас ждут к завтраку.

Она вышла не помня себя. Она не понимала того, что ей говорили. Она ела кушанья, которые ей подавали, слушала разговоры и не знала, о чем идет речь, вероятно, беседовала с фермершами, отвечала на расспросы о ее здоровье, подставляла щеки для поцелуев, сама целовала подставленные щеки и наконец села в тележку.

Когда из глаз ее исчезла за деревьями высокая кровля замка, что-то оборвалось у нее в груди. Она чувствовала в душе, что навсегда распрощалась с родимым домом.

Тележка привезла их в Батвиль.

В ту минуту, как Жанна собралась переступить порог своего нового жилища, она заметила под дверью что-то белое; это было письмо, которое подsunул туда почтальон в ее отсутствие.

Она сразу же узнала почерк Поля и, дрожа от волнения, распечатала письмо. Оно гласило:

«Дорогая мама, я не писал тебе до сих пор, потому что не хотел, чтобы ты понапрасну приезжала в Париж, когда сам я собирался со дня на день навестить тебя. В настоящее время у меня большое горе, и я очутился в крайне тяжелом положении. Моя жена три дня тому назад родила девочку и теперь находится при смерти. А я опять без гроша. Не знаю, как быть с ребенком. Пока что привратница кормит его с рожка, но я очень боюсь за него. Не могла бы ты взять его к себе? Я решительно не знаю, что мне делать, и не имею средств, чтобы

отдать малютку кормилице. Отвечай с обратной почтой.

Любящий тебя сын Поль».

Жанна опустила на стул и едва собралась с силами, чтобы позвать Розали. Когда служанка явилась, они вместе перечли письмо, потом долго сидели в молчании друг против друга.

Наконец заговорила Розали:

— Надо мне съездить за маленькой. Не бросать же нам ее.

— Поезжай, голубушка, — отвечала Жанна.

Они помолчали еще, потом служанка заговорила опять:

— Надевайте шляпу, мадам Жанна, и едемте в Годервиль к нотариусу. Раз та собралась помирать, надо, чтобы господин Поль женился на ней ради девочки.

И Жанна, не возразив ни слова, надела шляпу. Глубокая, затаенная радость затопила ей сердце, радость предательская, которую ей во что бы то ни стало хотелось скрыть, та подлая радость, которой со стыдом упиваешься в тайниках души; любовница сына была при смерти.

Нотариус дал служанке подробные наставления, которые она просила повторить несколько раз; затвердив все, чтобы не ошибиться, она объявила:

— Будьте благонадежны, теперь я все улажу.

В тот же вечер она выехала в Париж.

Жанна провела два дня в таком смятении, что не могла обдумать ничего. На третье утро она получила от Розали краткое извещение о приезде с вечерним поездом. И больше ни слова.

Часов около трех она попросила соседа заложить двуколку и поехала на станцию, в Безвиль, встречать Розали.

Она стояла на платформе, устремив взгляд на двойную линию рельсов, которые убегали вдаль и сближались где-то там, на краю горизонта. Время от времени она смотрела на часы. «Еще десять минут. — Еще пять минут. — Еще две минуты. — Вот сейчас». Вдали на колее не было видно ничего. Но вдруг она заметила белое пятнышко-дымок, потом под ним черную точку, которая росла, росла, приближаясь на всех парах. Наконец тяжелая машина замедлила ход и, пыхтя, проползла мимо Жанны, которая жадно вглядывалась в окна; многие дверцы отворились; на платформу стали выходить люди-крестьяне в блузах, фермерши с корзинами, мелкие буржуа в мягких шляпах. Наконец она увидела Розали и у нее на руках какой-то белый сверток.

Она хотела пойти, навстречу, но побоялась упасть, до того у нее ослабели ноги. Служанка заметила ее, подошла к ней с обычным своим спокойным видом и сказала:

— Здравствуйте, мадам Жанна, вот я и вернулась, хоть и не легко мне пришлось.

— Ну как? — пролепетала Жанна.

— Да так, она нынче ночью скончалась. Они женаты, вот девочка.

И она протянула ребенка, которого не было видно в ворохе пеленок.

Жанна машинально взяла его, они вышли со станции и сели в тележку.

— Господин Поль приедет после похорон. Должно быть, завтра, в это же время, — сообщила Розали.

Жанна пролепетала только одно слово:

— Поль.

Солнце клонилось к горизонту, заливая светом зеленеющие нивы с золотыми пятнами цветущего рапса и кровавыми брызгами мака. Беспредельный покой сходил на умиротворенную землю, где наливались соки.

Двуколка катила быстро, крестьянин прищелкивал языком, подгоняя лошадь.

Жанна смотрела куда-то вдаль на небо, которое, точно ракетой, прорезал стремительный и прихотливый полет ласточек. И вдруг мягкое тепло, тепло жизни прошло сквозь ее платье, достигло ног, разлилось по всему телу, — это было тепло маленького существа, спавшего у нее на коленях.

И безмерное волнение охватило ее. Быстрым жестом открыла она личико ребенка,

которого не видела еще: дочь своего сына. И когда голубые глаза малютки раскрылись от внезапного света, когда она зачмокала ротиком, Жанна подняла ее и осыпала неистовыми бесчисленными поцелуями...

Но Розали с довольным видом ворчливо остановила ее:

— Пойдите, пойдите, мадам Жанна, а то она у вас раскричится...

И добавила, отвечая, должно быть, на собственную свою мысль:

— Вот видите, какова она жизнь: не так хороша, да и не так уж плоха, как думается.